

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

7/2023



В номере:

«И не забыть, не вспомнить никогда...»

Распавшиеся семьи, бездетные родители, брошенные дети — все обречены пройти через испытания сиротством. «Баб-Уля, целуя на прощанье в лоб, иногда жалостливо пришёптывала: сирота ты моя казанская или сирота на морозе, или сиротка, ангел... Гелька не перечила, но терялась: почему сирота? У неё и мать, и отец, и баб-Уля. Но сирота на морозе почему-то нравилось. Почти Снегурочка, которая была без матери, без отца, но с дедушкой Морозом. Красивая, весёлая, в голубом пальтишке, отороченном белым мехом, с русой косой через плечо.»

Роман Галины КЛИМОВОЙ «Сирота на морозе» — о любви, о счастливых её обретениях и горестных утратах, когда приходит острое осознание своей покинутости и одиночества среди людей в этом огромном мире.

«О чём мелодия твоя»

Эта неприятная строчка поэта Германа ВЛАСОВА вмещает целую жизнь — от изнанки быта и буден до вечных вопросов, когда «занесён топор/ как над самим собой — видимостью, судьбой».

И поэзия Екатерины ПОЛЯНСКОЙ совпадает с «ломкой линией судьбы», звучащей женским голосом: «Ах ты, Родина — дымная даль,/ Материнская горькая доля». Ксения АКСЁНОВА, дебютантка «ДН», подхватывает тему «...и нам когда-нибудь случится/ узнать, что время шло насквозь».

Переводы Константина ГАДАЕВА стихов осетинского поэта

Амурхана КИБИРОВА «Тем, кто с родиной слился» — наше поздравление к восьмидесятилетию мэтра.

В рубрике «Поэт о поэте» Вера КАЛМЫКОВА рассказывает о блистательном поэте и переводчике Вячеславе ШАПОВАЛОВЕ, Народном поэте Кыргызстана, несравненном «манасчи», верном друге «ДН», ушедшем от нас год назад.

«Средоточие замыслов и смыслов»

Эссе Владимира ЛИДСКОГО «Мама, папа, детское» — о малой родине. «Малая родина у меня не одна, — признаётся писатель, — если говорить широко и пытаться осветить тему с размахом, таких родин у меня, надо полагать, три, потому что кроме Москвы и Лиды есть ещё Кыргызстан, где я прожил без малого сорок лет — так, думаю я, у многих — у кого-то три, а у кого-то и больше, — всё зависит в таких случаях от степени любви и тепла к месту...»

Иосиф Бродский в Исландии

Глава из книги «Грант для художников» известного исландского прозаика Оулава Гюннарссона — забавная и трогательная история, охватывающая несколько дней 1978 года. «На следующий день Иосиф Бродский — поэт-изгнанник — выступал в маленьком зале «Радуга» и читал стихи по-русски так поэтично и певуче, что потребности в переводчике не возникало; и я поверил, что ночью накануне он и впрямь видел ангела».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2023.
Подписано в печать 29.06.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Герман ВЛАСОВ. Подмалёвок мечты. <i>Стихи</i>	3
Галина КЛИМОВА. Сирота на морозе. <i>Роман</i>	7
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. Ломкой линией судьбы. <i>Стихи</i>	64
Евгений КАМИНСКИЙ. Рыба. <i>Повесть</i>	68
Ксения АКСЁНОВА. И нам когда-нибудь случится. <i>Стихи</i>	108
Алексей ВАСИЛЕНКО. Казус Серёгина. <i>Рассказ</i>	110
Александр ВЕРГЕЛИС. Не смотри в глаза морских котов. <i>Рассказ</i>	123
Анна ЛУЖБИНА. Клубничные пузыри. <i>Рассказы</i>	132
Амурхан КИБИРОВ. Тем, кто с родиной слился. <i>Стихи. С дигорского.</i> <i>Перевод Константина Гадаева</i>	146
Игорь БУЛКАТЫ. Иорам. <i>Рассказ</i>	149
Светлана МИХЕЕВА. Колокол воздуха. <i>Стихи</i>	159

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Ольга ОЛЕСИНА. «Стучал копытами на перемене». <i>Рассказ</i>	161
--	------------

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Вера КАЛМЫКОВА. Прямые не пересекаются: о разном человеке Вячеславе Шаповалове	166
---	------------

ПРОЗА. ДОС

Максим ГУРЕЕВ. «Могилы моей не ищите...» <i>Главы из книги о Григории Распутине</i>	174
---	------------

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Владимир ЛИДСКИЙ. Мама, папа, детское	206
---	------------

НАЦИЯ И МИР

Татьяна ДУБЯНСКАЯ. Скрепты по-индийски: между мечтой и реальностью	222
--	------------

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Оулав ГЮННАРССОН. Иосиф Бродский в Исландии. <i>Из книги «Грант для художников». С исландского. Перевод О.Маркеловой</i>	233
Константин ШАКАРЯН. Парадокс о критике и эпохе. <i>Размышления над книгой</i> <i>Владимира Зелинского «Разговор с отцом»</i>	239

КРИТИКА

Марк АМУСИН. Лики фантазии, или JORGE vs. JULIO	247
---	------------

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Александр ЛЮСЫЙ. Усамособоенность, или Музыка знаков (<i>В. Курносенко. «Диалогия: Неостающее время. Совлечение бытия»</i>)	258
--	------------

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Три катастрофы и одна жизнь (<i>В. Волобуев. «Станислав Лем — свидетель катастрофы»</i>)	263
---	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Времена не выбирают?	268
--	------------

Герман Власов

Подмалёвок мечты

* * *

станция моя узловая
время обнимая словами
виден подмалёвок мечты

мачта черепица заборы
вихри поднимающий скорый
ласточкой железной а ты

обречён стоять одиночкой
пригвождён к платформе и точно
гвозди по рукам и ногам

как часы зимою и летом
со своим несданным билетом
говоришь железным богам

не беда что крутится время
есть лучи входящие в темя
все мы лёгкой ваги рабы

люди но чудесное будет
за изнанкой быта и буден
привкуса беды хворобы

за одеждой яви из отчеств
ветошью чужих одиночеств
стены существуют затем

чтобы их узор постепенно
таял чтобы пёстрая пена
знала своё место как тень

Власов Герман Евгеньевич — поэт, переводчик, эссеист. Родился в Москве. Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Автор семи поэтических сборников, лауреат и дипломант Волошинского конкурса (2009, 2011) и международной литературной премии им. Фазиля Искандера (2021). Живёт в Москве.

* * *

Слитые плеск и блеск, неоглашенных лес.
Это хозяйка гор вносит один прибор
чайный, льёт мимо нот солнце седых длиннот.

Как там поэт сказал, трубы увидят за
стены, срубленный сквер, под неживой размер
снега и колки дров. Музыка! Будь здоров.

Спешась, помедли, хор, пусть занесён топор,
как над самим собой — видимостью, судьбой.
В эту музыки щель видишь: стелят постель,

приготавливают чай там, где выбор нечаст.
Слышишь, в клубок сплелось — Созь и платформа Лось,
синий отлог и дол, траурный марш гондол.

Это в лазурь плывёт, белый мел, самолёт;
наперерез другой, к солнцу над головой,
чтобы оставить крест равновесием мест.

Как гондольер какой, длинной беру рукой,
трогаю спины, спиц быстро мельканье, лиц
прямоходящих, где музыка на воде.

* * *

Скорбный рот, потемневшие губы,
опыт лба, где живая борьба,
и глаза, о каких однолюбы
повторяют: игра, ворожба.

И — копна, обнажившая шею,
твоих русых упругих волос.
Ты же, если не врут, — ворожея, —
расскажи, как тебе не спалось,

не умели сойтись половинки.
Умудрённые утра лучи
растопили, как тёмные льдинки;
что они на щеках горячи;

что на палец наматывать локон
станешь ты, что опять не спала,
и, как раньше, поставишь свой локоть
на клеёнку у края стола;

расцарапаешь пальцем омелы
на поверхности тыльной стекла,
что в рубашке наброшенной тело —
из природы звенящей тепла.

* * *

Чубушник — белый сарафан поблёк, с теплицы целлофан шуршит, как на морозе
куртка.

И длинный листопада сон, тот, чей рисунок невесом, дымок перечеркнёт окурка.

Под тусклым небом октября, войти, его дремоту для, штaketника огладив спину.

По склизким листьям в тусклый двор войти, в дом щитовой, как вор, как ветер входит
в окарину.

О чём мелодия твоя, что может ветер изваять? Возвысится волной и тонет.

Железом кровельным стучит, обидится и замолчит, тепла не удержав ладоней.

Осенний ветер бедный Фирс сравнить бы мог с волной о пирс, сном падчерицы,
отрезвленьем,

твердящим, что спасенья нет, но солнца обернётся свет и пахнет яблоневым тленьем.

Нет, есть в отечестве пророк, и жизнь, завёрнута в комок печатной жёлтой целлюлозы,

запахнув серой, задрожит и — пламя весело бежит по вырванным страницам прозы.

* * *

Я не грущу о перелеске,
шуршащей листьями ходьбе,
где на закате от железки
на ощупь двигался к себе;

о ватнике и дранке в стенах,
окне, веснушках на щеках —
всё видимое только сцена,
живые в ней любовь и страх.

И дверь, и жёлтые обои,
и в парке дева без весла,
и осень — видели такое,
чего не знает мир числа.

И от кровати шарик медный,
как в море унесённый буй,
найдя, скупое солнце медлит
и длит воздушный поцелуй.

Озарение

— Чуть влажная — сказала. Я надел
рубашку, ощущая в складках ткани
сирень ночную, отсыревший мел.
Я помню, как с вязкой хлопок прел,
как аромат, вальсируя на грани

пропажи ускользанья, вёл меня
сквозь пестроту и маскарад великий,
и все свершенья памятного дня —
мне одному вручённою уликой.

Я виделся со сверстником, его
высокою болтливою подругой,
а чудилось, что рядом никого —
один по свежескошенному лугу

иду себе. Когда ж я говорил,
то языком неведомым доньше;
минуя топи, огибая ил,
я лепестками горными сорил;
мой новый образ отражался в иле.

Приподнятость, всеслышимость, охват —
тут не одна романтика и младость —
как описать всё это? Я был рад,
без косточек есть тёплый виноград,
узнать на вкус нечаянную радость.

Галина Климова

Сирота на морозе

Роман

Надо было дожить до шестого десятка, чтоб осознать себя Ангелиной. Во дворе — Гелька, в школе — Гелька или строго — Геля, и только дома гостинчиком, печатным пряничком — Геличка. Залегалое, неходовое имечко в стране, где религия — «опиум для народа».

Только любимая певица Гелена Великанова поддерживала тётку по радио и телевидению на весь Советский Союз. После скандального шлягера «Ландыши», приговорённого официозом за мещанство, слава Гелены Великановой затмила блеск рубиновых звёзд и довела всеобщую любовь к певице до обожания, а Геле помогала жить.

Она запомнила день, когда мама в первый раз назвала её Ангелиной.

Икона Николая Угодника в зернёном серебряном окладе, в киоте — единственная в доме — висела под самым потолком. Прабабушка Акулина Ивановна Дьячкова, тульская крестьянка, благословила этой иконой на брак младшую дочь Ульяну Захаровну, которая передала её своей дочери Татьяне, а она, Танча, в свою очередь — Геле, когда та неожиданно вышла за Женю Коробейникова.

Четыре поколения семьи — бабы, конечно, у мужей партбилеты грели сердце — молили, плакали, благодарили, елозя губами по стеклу. Какими словами молились? В чём каялись? В церковь ходили только на Рождество и на Пасху.

В церкви всё особенное, даже воздух. Дух — называла его баб-Уля, поводя длинным носом до трепетания красных ноздрей. Над головой — орбита неохватного бронзового паникадила в электрических свечах; по стенам — иконы в тихом свете красных, синих, зелёных лампад. Перед иконами — бронзовые ставцы, а на них свечи, свечи, свечи. Кроткие, душистые. Горят, как горюют. И если обожгут, то не больно.

Из золотых ворот царями и принцами в парчовых плащах являлись *батюшки*, или *отцы* — с уважением говорила баб-Уля, — несмотря что молодые. И ни один не похож на нашего папу, которого никто не звал *батюшкой*, а только папа или Петя,

Климова Галина Даниелевна — поэт, прозаик, переводчик. Автор нескольких книг стихов (три из них вышли билингва в Болгарии), трёх книг прозы, в т.ч. «Сочинительница птиц» (2022), составитель трёх антологий поэзии. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2004), финалист Международной премии им. Фазила Искандера (2018, 2022) и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 9.

Пётр Петрович Чудинов. Батюшки — красивые, бородатые, с большими животами — читали вслух огромную тяжеленную книгу, едва удерживали её в руках или даже клали на подставку.

Священники молились, кланялись, крестились, уходили и опять выходили и опять крестились и людей благодарили, что пришли в храм помолиться. «Когда вырасту, — загадала Геля, — выйду замуж за священника. Пусть вместо сказок читает мне Библию. Потому что я пока не всё понимаю, только отдельные слова. Будто не наш язык. Баб-Уля говорит, церковный. Вот я и спрошу у него: почему люди и Бог говорят на разных языках? В жизни — один, для Бога — другой? Разве нет общего языка? Как же тогда понимать друг друга?»

Время от времени Гелька подходила к большой, выше её, иконе и рассматривала: красивая тётенька со строгими тёмными глазами, на руках — малыш, сынок. Видно, что хороший. Оба внимательные и следят: кто подошёл и поцеловал, и свечку зажжёт, а кто прошмыгнул мимо.

Негнушимся толстым пальцем баб-Уля указала на икону, как погрозила:
— Запоминай, Казанская Богородица с младенцем.

С первого раза Гелька не просекла: почему Казанская? Почему не Московская? Казань далеко, Москва под боком. Переспросить не решалась, потому что баб-Уля, целуя на прощанье в лоб, иногда жалостливо прищёптывала: *сирота ты моя казанская*, или *сирота на морозе*, или *сиротка*, *ангел*... Гелька не перечила, но терялась: почему сирота? У неё и мать, и отец, и баб-Уля. Но *сирота на морозе* почему-то нравилось. Почти Снегурочка, которая была без матери, без отца, но с дедушкой Морозом. Красивая, весёлая, в голубом пальтишке, отороченном белым мехом, с русой косой через плечо.

Казанская Богородица — это не про Гельку. Тем более с ребёночком. Если негде жить, ребёнка можно определить в детдом. И адрес известен. На Комсомольской, неподалёку. Двухэтажный старинный дом — каменный низ с тёмным холодным подвалом, бревенчатый верх, широкое крыльцо под козырьком, по бокам застеклённые просторные террасы, сзади — старый яблоневоый сад. Сквозь щелястый унылый забор видно, как детдомовцы играли в вышибалы или в штандер, прыгали через скакалочку, дрались, секретничали, орали. И вдруг: *бегма, бегма, ребзя!* И — все в дом. Полдник. Плюшки-ватрушки, розовый кисель из концентрата или компот из сухофруктов.

Казанскую Богородицу со строгими тёмными глазами звали Мария. Тётъ Маруся? Тётъ Маша? Как их соседка, мать-одиночка, у которой сын Эдька — отличник и солист школьного хора, хоть и заика. Его даже свои дворовые за просто так не пропускали: подножка, пендель или кулаком по шнобелю — до красной юшки. И дразнили, и корчили рожи: *жид, жид, на верёвочке бежит, а верёвка лопнула и жида прихлопнула*... Эдька — второклассник, и на младенца Иисуса совсем не похож, но тоже хороший, а тётъ Маша — курносая, в веснушках, с рыжими кудряшками.

Младенцы и отроки сидели под Казанской. Томились, дремали вповалку, щипались, щекотали друг дружку до икоты и заливались смехом под сердитые взгляды, родительские тычки и подзатыльники.

Наконец, самый большой священник, начальник — в высокой фиолетовой шапке с белым «бирлиантовым», по выражению баб-Ули, крестиком надо лбом, — держа тяжёлую золотую вазу, приступал к раздаче святых даров — каждому по ложечке, как лекарство.

— Не дрейфь, — шепнула баб-Уля, — кагор с хлебушком. Разинь рот пошире, чтоб не пролилось.

Про кагор Гелька знала всё: это густое сладкое вино врач прописал ей для поднятия аппетита. По ложке — хотелось больше! — перед обедом. Все дети тогда пили перед обедом кагор, а по утрам вонючий рыбий жир — бр-р-р, жуть! — быстро, пока не вывернуло, заедая кусочком черняшки с солью.

После причастия раздавали свежие пышные просфоры. Гелька вмиг проглатывала свою и тянулась за другой.

— Не егози, — отщипывая бледную крышечку просфоры, делилась баб-Уля.

Примерно с третьего класса по арифметике начали проскакивать двойки, задачки не решались, и она вымаливала перед иконой Николая хотя бы трюндель за контрольную, а если получала четвёрку, то радости не было предела.

— Ты — настоящий Угодник, а я — настоящая хорошистка!

По субботам родители наряжались, душились, заворачивали в старую «Правду» — для приличия — поллитровку портвейна и степенно выдвигались на другой конец посёлка к Микрюковым — в компанию.

Гельку с собой не брали, но не раз она слышала от отца рассказ про дом Микрюковых, доставшийся от бездетной тётки по наследству: бревенчатый с кружевными наличниками и со ставнями, крепкий, тёплый, но стоит очень неудачно — на низком берегу озера, и в половодье вода заливает крыльцо, даже в сени заходит. Не зря же Венька Микрюков смастырил деревянные мосточки! А недавно, цыганская кровь, приволок откуда-то лодку. Считай, личный водный транспорт. Аж завидки берут! И то ли в шутку, то ли всерьёз доказывал, что без лодки в их положении никак нельзя, потому как самая настоящая Венеция именно здесь, в Купавне, а не в Европах, хоть там, в ихней Венеции, у каждого имеется лодка-гондола, — отец делал ударение на первом слове.

У Микрюковых гужевались бывшие фронтовики. Все с жёнами. Все чем-то похожи. Мужики со стрижками бокс-полубокс, в трофейных пиджаках или гимнастёрках со споротыми погонами, в галифе. Жёны в блузочках на мелких пуговках, а кто-то в «комбинированном» платье, собственноручно перешитом из двух старых.

На столе бутылъ самогона, настоящего на жимолости, картошка с солёными огурчиками-грибочками-капусткой, сало.

Чаще всего резались в петуха, иногда для разнообразия раскладывали лото, перемешивая в мешочке бочонки с красными цифрами, выкрикивали: барабанные палочки, стульчики, жидики, утята, дожина, туда-сюда... Игнали на деньги.

В субботу Гельку укладывали пораньше. Она убедительно притворялась спящей. Но какой тут сон? Волчье завывание ветров, собачий лай, скулѣж, кошачьи свары и — колотьѣ сердца в горле. «Дѣрни за верѣвочку»... Кто там? Грабители, убийцы, призраки, «белые перчатки» — сначала по клавиатуре в четыре руки, потом шею сдавят до хруста... А если не «белые перчатки», то «красные глаза», которые проходят сквозь стекло и крадут детей. Один взгляд — и нет тебя!

Окно — самое опасное место, хоть и с двойной рамой. Между стѣклами свѣрнутая пышным рулетом вата, нашпигованная серебристыми осколками от новогодних игрушек и мишурой. Разве это преграда?

От страха и начиналась трясучка. Защитой было застиранное байковое одеяльце. Гелька занавешивала окно, отгораживаясь от вселенского зла, и включала радио. Там по программе в это время начиналось волшебство под названием «Театр у микрофона». Как друг или родственник, театр приходил к ней домой, обещая другую жизнь. А если пьеса ещё и в стихах... Глубокий вдох и — резко ввысь, в отрыв,

где происходит то, что случится завтра или послезавтра, а может, случилось лет сто тому назад и в другой стране, но сейчас было с ней, с Гелькой. Она — Джульетта в дышащей апельсинами Вероне... или принципиальная революционерка Любовь Яровая с револьвером, готовая убить мужа-белогвардейца... эх, зря любила!

Тайна невидимого театра стучалась и завораживала: слушать и узнавать артистов по голосам, понимать тональность паузы... И всё-таки Гелька мечтала о театре с декорациями, бордовым бархатным занавесом, бурными всплесками аплодисментов и, конечно, с буфетом, где продавали эклеры и газировку «Дюшес». Но жила она «Театром у микрофона» для взрослых — и это была детская тайна.

Главное, не уснуть и успеть выдернуть вилку, занырнуть в тепло лоскутного ватного одеяла, чтоб родители, шёпотом подсчитывая денежки — с «наваром» или продулись? — не заподозрили её в притворстве и обмане.

В тот вечер шла трансляция «Двенадцатой ночи» Шекспира. Гелька витала в облаках воображаемой Иллирии, где она — прекрасная Виола. Прикрыв от восторга глаза, повторяла за герцогом Орсино: «...Передо мной предстанет дева. /Моей души любовь и королева».

И вдруг — бах, бах, бабах! Звон разбившегося стекла и — бездыханная тишина, как сирена тревоги. Живот сделался каменным, сильно сдавило под ложечкой, и через пупок наружу выполз страх. Ужасно холодно. Губы запрыгали, зубы застучали.

— Мамочка, мамочка, гра-бят! Уби-ва-а-ют!

Страх перерастал в ужас вселенского масштаба, где она — песчинка в безжизненной пустоте.

— Кто там? — Подскочила к окну. Мрак отзывался мраком. Зажгла люстру, но свет был слабым и неутешительным.

На полу ликом вниз лежала икона. Гелька остолбенела не просто как маленькая девочка, но как провинившаяся маленькая девочка. Заскулив, поползла подбирать раскатившиеся гвоздики, крохотные, серебряные. Подняла икону, обтянутую сзади потёртым красным бархатом, отодвинула верхний край перекосившегося оклада, неожиданно податливого, тонкого, и икона впервые открылась целиком.

Лик Чудотворца просветлел — ни скола, ни царапинки. Раньше через стекло киота, через прорези в окладе было видно, что Николай — добрый старичок с залысинами на висках, с седой курчавой бородой и карими глазами. А без киота, без оклада — в полный рост — он оказался моложе, крепче и веселей. На плечах поверх бордового халата — белый шарф с чёрными крестами. В правой руке — раскрытая книга, а левой — с перекинутым зелёным платком — обещает утешить, приобнять или по головке погладить. От зелёного платка — запах тополиных почек. Гелька потёрлась об икону лбом, приложила её к темечку. Эта нарисованная зелень подтверждала: жива, жива! Икона не убилась. Гелька прилипла губами к высокому лбу, к щекам и даже к устам Чудотворца. Ой! И вдруг бухнулась на коленки, заголосила, забормотала, глядя в красный угол. На месте иконы хищным зраком тарасилась дыра, а большого ржавого гвоздя, на котором держалась икона, не было.

— Прости, прости, пожалуйста! — выпрашивала Гелька, хотя не понимала, у кого просит прощения. У Чудотворца? Или... — Боженька, Богушка милый, где ты? Прости, прости, прости! — Так горячо, взахлёб, она не просила прощения даже у родителей за враньё или грубость.

Сорвавшись с ржавого гвоздя, валявшегося теперь на половице, икона ударилась о край стола, отскочила и упала на пол. Киот разбился, но икона — невредима.

Что-то обнадёживающее забрезжило в Гелькиной голове, но тут же обрушился резкий шквал: родителям-то как сказать? И она — тише осенней мороси — заплакала.

Вернувшись подшофе со звонкой тяжестью выигрыша в карманах, Чудиновы быстро протрезвели и струхнули. Плохой знак. Неспроста. Прикидывали так и этак, перебирали прошлое, всю ночь ворочались в постели, вздыхали и шептались, а под утро сошлись, что играть на деньги — известный грех. Колоду атласных карт сжечь. К Микрюковым — ни ногой, ну если только что-то особенное, но не играть. Дом освятить. Позвать батюшку и освятить. А все картёжные деньги раздать нищим.

Утром, ещё лёжа в постели, Танча тихонечко позвала:

— Ангелина, иди ко мне, детка!

Гелька не сразу сообразила, что она — Ангелина.

— Напугалась, да, дочка? — Гелька прилегла рядышком, они обнялись. Танча обцеловала её щеки, лоб, обнюхала волосы — запах тополиных почек. Откуда? На прошлой неделе, она точно помнила, купила в хозяйственном два куса мыла, но оно было земляничным... Гелька уткнулась в тёплую мякоть материнского плеча и задремала.

— Ангелина, девочка, ангел мой! — пела ей почти в ухо Танча. — Ангел женского рода!

Кошмар купавинского детства всплыл, когда Геля, давно уже Ангелина Петровна, пришла в студию иконописи. Начинаящая пенсионерка, она ещё жила на скорости своей молодости, почти бестелесная, лёгкая, в дымке взвихренных светлых волос, а глаза — как цветки цикория, так ей когда-то сказала мама. В старуху превращаться было некогда. Поозиралась по сторонам, поаукалась с подружками, посудачила с ними о неблагодарных детях, дороговизне лекарств и продуктов, о магнитных бурях и засела писать свою первую икону.

Давно она к этому шла, когда ещё учительствовала: больше тридцати лет — от звонка до звонка — в началке. Они с химозой Тamarочкой Ивановой, любительницей достопримечательностей, записались на автобусную экскурсию Калуга — Оптина пустынь. Про родину Циолковского все наслышаны, а вот про Оптину знала лишь, что туда из Ясной Поляны бежал Лев Толстой, но по дороге простыл и умер от воспаления лёгких где-то неподалёку.

Экскурсовод, интеллигентный молодой монах, рассказывал хорошим русским языком и со знанием дела про историю монастыря и про то, какая неподъёмная предстоит работа: укрепление старинных фундаментов, полов и даже постройка несущих стен, установка системы отопления и, конечно, реставрация огромных площадей фасадов и бесценных интерьеров. Самая большая и праздничная в Оптиной — церковь Казанской Богородицы с чудотворной иконой Богоматери. Старинную икону, щедро украшенную жемчугами, бирюзой, какими-то сияющими белыми камнями и самоцветами по золотому полю, подарила монахам местная помещица Елисавета Сабурова. Впридачу ещё и деньги немалые пообещала, чтоб построили храм во имя Казанской Богородицы. И началось...

Оптинская Казанская больше, богаче и оттого неприступнее, чем Казанская из Гелькиного детства — скромная, привычная, рядом с которой *сироте казанской* было совсем не страшно.

Церковь только начали восстанавливать. На многоэтажке строительных лесов балансировали реставраторы: чистили фрески, смывали вековую свечную копоть. Солнечный свет входил в высоченные окна ликующими золотыми трубами, высвечивал

и рассекал почти до пола пространство храма, чуть слышно играя радость на мотив Оды Бетховена — или так казалось. Воздух подпевал золотистым роем пылинок. Или это бригада женщин, с тихой молитвой работавших на дощатых настилах под сводами? В боковом приделе ловкая отроковица в белом платочке расписывала арку: витые золотые ленты, зелёные лозы, лилии, хвостатые птицы... что-то из жизни райского сада. Рука тонюсенькая, но мастеровитая. Отроковица время от времени крутила затёкшей шеей, опускала голову, а когда писала, вытягивалась в струнку — вот-вот завибрирует, зазвучит в высоком регистре где-то под самым куполом. И Геля ощутила, как что-то отозвалось в ней: и я хочу жить в такой радости, чтобы храм, фрески, иконы... и свет, свет!

Возвратясь из Оптиной, Геля набросилась на жизнь жадно, взахлёб навёрстывая упущенное по молодости и недомыслию. Тогда же покрестила дочку в Покровском храме, куда они прибились как захожане, потом освоились и стали полноправными прихожанами. Только муж Женя креститься отказался, и обида на него, нехристя, перехлёстывала через край её смирения многие годы.

Женьке и года не исполнилось, когда его отца, тридцатилетнего геолога Григория Михайловича Коробейникова, сцапал железный «воронок».

Первые пятилетки мама Соня объясняла, что папа в секретной экспедиции, и отпуска ему не положено. Надо просто терпеть и ждать. Терпение и ожидание подпитывались рассказами про геологов, про историю открытий месторождений полезных ископаемых, про экспедиции. Это были уроки жизни на примере героического отца и ничем не выдающейся, обыкновенной мамочки Сони, называвшей себя трудилкой, или производственной единицей общества. Время от времени Женя задавался вопросом: полюбит ли он отца так же сильно, как любил мать? полюбит ли его отец, когда вернётся?

Разговоры о Григории Михайловиче вспыхивали часто и без повода. Вроде бы только что тут стоял или вместе за столом сидели, но ненадолго куда-то вышел. Соня ждала Гришу горячо, с азартом, и даже в мыслях не мелькало, что сын растёт сиротой.

— Гриша, Гринечка! — звала она мужа, и мягкие волны памяти подхватывали её. Энергичными бросками Соня выгребала на глубину реки, на стрежень. Весело, стрёмно. И свободы взахлёб.

— Гриша — разведчик, но не военный. Он — геологоразведчик, гравиметрист, полевик. Засекреченный специалист. Определяет по показаниям гравиметра запасы природных ресурсов, потенциал обследованной территории. Что там в недрах? Руды, золото, уголь или нефть? Вся жизнь от одной опорной точки до другой. А точек этих, как звёзд на небе. Именно по таким опорным точкам составляли районные карты, из районных — областные, а потом сводную геологическую карту Советского Союза. Наша геологическая карта была первая в мире! И это в 37-м году! Сколько жизней положено?! Какие судьбы?! И среди них — наш Гриша.

Женька ломающимся голосом подхватывал: наш Гриша, Гринечка, мой папа. И с тем же восторгом, ластясь и жалеючи: Соня, Соник, Сонюшка. Сторонние недоумевали: мачеха, что ли? Почему по имени зовёт? Неправильно это, не по-нашему.

Как из копилки, сыпала Софья Сергеевна историями из жизни геологов, Гришиных друзей, которых Женя не видел и не знал — к ним редко кто заглядывал. Только Игорь Глебович, университетский однокашник, приходил в День геолога и в Сонин день рождения.

Женька давно прочитал любимые книги отца, тесно стоявшие на отдельной полке, а «Землю Санникова» Обручева, тоже геолога, даже дважды. Не помня отца, он бы узнал его: добрый лобастый бородатый молчун с палаткой, с неподъёмными приборами бредёт по Сибири, по безнадёжной тундре, где глазу не за что зацепиться: ни деревца, ни кустика, никакой вертикали. Или продирается сквозь черневую таёжную глухомань. Или, спасаясь от гнуса и мошки у костра, греется под разговоры, может, письмо, может, стихи пишет, прихлёбывая обжигающую забористую шару — смесь перекипячённого чифирия и спирта. Соня рассказывала, как геологи охотились в тайге и пытались приручить рысь; как зимовали в палатках на лапнике, спали в мешках на собачьем меху, который, оказывается, теплее оленьего; как запекали в земле, под кострищем подстреленных диких уток и гусей, неошипанных, обмазанных глиной; как неделями выживали на сухпайке, ждали вертолёт, который обязательно их найдёт и сбросит провиант, тогда крупу и чай можно выменивать у местных на свежую или вяленую рыбу.

После смерти Сталина весна наступала не спеша, с оглядкой. Марток настораживал и откровенно страшал. Но ясное небо и слепящее солнце не отменить, как и ту беспощадную правду, обрушившуюся на страну из чёрных репродукторов и передовиц центральных газет: *лагеря, репрессии, 58-я статья, реабилитация...*

Женька в момент просёк: это про отца. *Десять лет без права переписки* — это про отца. И они с Соней перестали говорить о Грише. Не забыли, конечно. Просто перестали говорить и ждать.

Но однажды утром, сидя на постели и хлопая слипшимися от слёз ресницами, Соня, как провинившаяся гимназистка, раскололась.

— Что-то со мной не так, Женечка! Не экзальтация, не мистика. Нечасто, но случается. И не сон. Реальность, но другая, нездешняя. — Соня откинула одеяло, прошлёпала к двери и встала на пороге: — Гриша *тут* стоял. И вроде бы не стоял, а завис в воздухе, парил, но вертикально, вот так. — Она подпрыгнула, чтобы уцепиться руками за притолоку и повиснуть, но промахнулась. — Ноги до пола у него не достают, но воздух его держит, представляешь? Земля не притягивает, а воздух держит! Абсурд, бред! Какое-то нарушение гравитации. А Грише нормально, даже нравится. Он в чём-то казённом, не имеющем цвета. Голова лысая, и на ней, не смейся, большой бублик. Поджаристый, золотистый. Такие у метро Новослободская продают. Горячие, с маком. — Соня задержала дыхание. — Но не бублик же... Что это? Нимб, да? Как у святого. Наш Гриша святой? — Она мелко перекрестилась и забормотала быстро-быстро: — Глазки весёленькие, радуется, что дома и с нами. Смотрю на него и одновременно вижу себя, как в зеркале. А где у нас здесь зеркало? Нет и не было никакого зеркала. А я вижу: нарядная, в лаковых танкетках сижу за столом и ногами болтаю. Улыбаюсь, ничего не говорю — идиотка, правда? — рукой заманиваю: заходи, мол, ждём-не дождёмся! Мы тут. А сердце, как мотылёк в сачке. Трёх-трёх, и вылетит! Счастья — через край! Через край чего? Этой жизни? Этого света? — Она обвела рукой унылый обшарпанный пенал, их жизненное пространство. — Разве здесь вместимо такое счастье? Разве посильно? Кому? Грише? Или тебе, ребёнку? Может, мне, меченой, которой прислониться не к кому? — Соня подошла к окну, где посветлее, упёрлась лбом в стекло и промокнула шалью набежавшие слёзы. Стало полегче. — Мы с Гришей глазами разговариваем: где ты? почему не пишешь? государственная тайна? Тс-с-с... Всё, как тогда на лекции по исторической геологии, когда случайно сели рядом. И влюбились. И в любви признались тоже глазами. Без слов. Это он, он,

поверь, сынка! — Она крепко обняла и тут же отпустила Женю, нахохлившегося, напуганного не столько странным рассказом, сколько видом Сони с вытаращенными глазами, изменившими её до неузнаваемости. — Гриша навестил нас. И не в первый раз. Значит, правда, реабилитировали. И он на свободе. Чувствуешь запах табака?

Женя дёрнул носом и неуверенно кивнул.

— «Казбек». Особенно у двери. Меня не проведёшь. Иди сюда!

Он послушно подошёл, но и там запаха не было. Женя промолчал, а Соня завелась ещё больше:

— Потом Гриша приложил палец к губам: то ли воздушный поцелуй, то ли «помалкивай, тс-с-с, Сонюшка!». И — всё рассеялось. Но запах «Казбека», наш общий воздух, и в нём какой-то промельк... Кадр из неслучившейся жизни, из моей личной жизни, с которой я разминулась. Смахивает на немое синема. Трижды так было. Но я хотела убедиться, что Гриша не призрак и я не сумасшедшая. Гриша — мученик, страдалец. Может, правда, даже святой. Не зря же в нимбе? — Она смутилась и зашептала, словно их могут подслушать: — Когда меня не будет, он к тебе придёт. Обязательно придёт. Не бойся, просто будь поласковой! Если он помнит адрес и знает, куда прийти, значит, память *там* не пропадает, значит, *там* — продолжение земной жизни.

В невероятном возбуждении Соня поцеловала Женю, схватила его за руки, закружила и посадила за стол.

Недавно по радио сообщили, что в Якутии, в бассейне Вилюя, открыто крупнейшее месторождение алмазов — кимберлитовая трубка. Соня часто повторяла, что у Гриши *интуиция на месторождения*. Женька не знал, что это такое, но смутно догадывался. Может, Гриша с его *интуицией* именно в Якутии? Они с Соней посмотрели в кинотеатре фильм «Неотправленное письмо». В главной роли Урбанский. Гриша похож на него. Конечно, имена и фамилии выдуманные, потому что — гостайна. Но Соня не исключала, что фильм про реальные события, про Гришу. И говорила об этом почему-то шёпотом или вовсе приказывала молчать. «Не болтай у телефона! Болтун — находка для шпиона!» — декламировала она расхожий стишок с плаката. — Научись, сынок, верить молчанию. Даже если Гриша физически не вернётся, если объявят, что он германский, или японский, или марсианский шпион, не верь! И молчи, молчи!

Женя поцеловал мать в щёку и хотел выйти из-за стола, но она ухватила его за рукав.

— Постой, ещё одна странность — мой почерк. Был круглый, школьный, девчачий. Стал ломаным, острым, проволочным. С левым наклоном. У Гриши такой. Ни одна машинистка не разбирала его закорюки. Чудеса, скажи?! Или я совсем ку-ку?

В начале апреля, в День геолога Соня обычно накрывала праздничный стол: льняная скатерть, пирог с капустой, винегрет, шпроты, сало. Перед Гришиной тарелкой лафитник водочки, прикрытый горбушкой его любимого бородинского, а сбоку приставлена чёрно-белая с резными краями фотокарточка: Первомай, воздушные шары, тополиные ветки с розочками из компрессной бумаги. Соня и Гриша. Праздничные, счастливые...

— Гриша возьмёт мою ладошку в свои ручищи — горячие, бугристые — и разглядывает, и разглаживает. Пальчики перецелует, как по клавишам пробежится: ты, Соник, не потеряешься, не собьёшься с маршрута. Внутренний компас выведет, верь мне, матёрому полевому волку!

Григорий Михайлович не ошибся. Жизнь была Соне по силам. Замуж второй раз она не вышла, хотя её лучистая красота не убывала ни с возрастом, ни с безнадёгой быта, обретая новый образ: более нервная, чем порывистая, с глазами изменчивой речной воды: зеленоватой — в покое, серой — в ненастье, голубевшей — на солнце.

В геологический музей Софью Сергеевну привёл Николай Алексеевич Смольянинов, профессор, минералог с громким именем, который вместе с Гришей исходил вдоль и поперёк высокогорья Алтая. Тогда — фантастическая удача — они нашли крупное месторождение вольфрамовых руд.

И директор музея, всё тот же Игорь Глебович Минько, университетский приятель Гриши и Сони, не смог отказать знаменитому коллеге — выделил полную ставку и принял сотрудницу с распростёртыми объятиями.

Штатный экскурсовод Софья Сергеевна, окрылённая ажурной шалью, с энтузиазмом просветителя слагала гимны о полезных ископаемых нашей необъятной родины и, конечно, о героизме советских геологов. С особым пристрастием, но с другим пафосом рассказывала о самоцветах. Сколько мифов и преданий! Верила в магические свойства камней, собирала рецепты лекарственных порошков, выписанные из европейских и древнерусских лечебников. Утверждала, что нефрит, который в Китае дороже денег, сильное успокоительное средство. Многие камни, меняя цвет и блеск, становясь тусклыми, тёмными или беспричинно запотевая, могут предупреждать о болезнях и даже предсказывать смерть. Лазурит, малахит, яшма, аквамарин, гранат, бирюза, сердолик... Софья Сергеевна легко отличала уральский узорчатый малахит с его шелковистым блеском от более светлого африканского, уральскую пёструю яшму от алтайской, которую камнерезы села Кольвань под Новосибирском обрабатывали с конца восемнадцатого века. И зелёная кольванская ваза, самая большая и тяжёлая в мире, по сей день хранится в Эрмитаже как образец неповторимой красоты.

Когда Геля, Ангелина Петровна Чудинова, пришла со своими четвероклашками на экскурсию по самоцветам, Софья Сергеевна встретила их в вестибюле и, взмахнув указкой, увлекла за собой поток детского любопытства.

— Наша Земля — мать-героиня. И камни — её дети. — Ребяшня, перестав озираться по сторонам, притихла. Ни смешков, ни переглядов. — Камни живые. Они — долгожители. Сто лет для них — миг! Их век несоизмерим с человеческим по революционности глобальных событий, планетарных катастроф и всех непредсказуемых последствий. Камни — надёжные хранители тайн. Они умеют молчать, но и говорить тоже. Эту речь запечатлели древние петроглифы, цветные или вырезанные, на скалах и в пещерах. И геологи — переводчики с языка камней на наш человеческий язык.

Камням поклоняются. Камни приносят на могилу вместо цветов.

О камнях много пословиц. Слышали, наверное, про лежащий камень? — Все радостно заверещали, закивали. — Запомните ещё одну: ласковым словом и камень растопишь. А сколько сказок? Про каменную стену, которую надо перепрыгнуть, чтоб попасть в тридцатое царство. Про камень перед витязем на распутье и перед Ильёй Муромцем. Про огромный валун — бел-горюч-камень Алатырь, который всех камней отец, и про волшебный малахит на Урале, про Хозяйку Медной горы. И приметы, приметы: камень с дырочкой — к счастью. «Куриный бог» называется. Кто видел? — Вынырнуло несколько рук. Ребята, как намагниченные, облепили экскурсовода, а Геля прикинула, где бы присесть. Стёртый мизинец на ноге горел огнём. Но, услышав стихи, подошла поближе.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

На последней строке Софья Сергеевна пустила петуха, откашлялась и продолжила с хрипотцой.

— Отправляясь на дуэль с Дантесом, Пушкин не забыл надеть кольцо с сердоликом. Магия сердолика сильна! Взгляните на эти портреты Пушкина работы Кипренского и Тропинина. Какой разный Пушкин, правда?! Но кольцо одно и то же, — длинная указка дважды ткнула в застеклённые репродукции. — Это подарок графини Воронцовой. Царь сослал Пушкина в Одессу, там он познакомился с Елизаветой Ксаверьевной. Они полюбили друг друга. Но графиня — замужняя дама. Её муж — генерал-фельдмаршал Михаил Семёнович Воронцов, знаменитый герой войны 1812 года. Бесстрашный вояка! И он заподозрил измену. — Кто-то из мальчишек захихикал, и пошла цепная реакция. Ребята заходились от хохота и гримасничали, девчонки закатывали глаза и крутили пальцем у виска. Софья Сергеевна продолжала как ни в чём не бывало. — Пушкину пришлось незамедлительно покинуть Одессу. На прощание Елизавета Ксаверьевна подарила поэту витое золотое кольцо с красным сердоликом. «Мой талисман», — назвал его Пушкин и поцеловал. Это кольцо, — снова два звучных укола по стеклу, — было на указательном пальце правой руки, в которой он держал пистолет во время дуэли. Сердолик — защита от измены и предательства, но не от пули. После смерти Пушкина знаменитое кольцо досталось его старшему другу, поэту Василию Андреевичу Жуковскому. После Жуковского кольцо перешло к Ивану Сергеевичу Тургеневу. «Муму» читали? Потом кольцо пропало. Потерялось? Украли? Или тайно хранится у какого-нибудь коллекционера?

Пересчитав детей по головам, Геля глянула на часы, на экскурсовода и поняла, что они ещё придут сюда.

Но в музей она пришла одна. Экскурсия по самоцветам впечатлила, однако гораздо больше — личность Софьи Сергеевны. «Человеческий самоцвет твёрдой породы», — определила Геля. И с мыслью о том, что встреча с Софьей Сергеевной — событие в жизни, поехала в музей, прикупив веточку бледно-розовых хризантем, хоть и сиротских, но живых в разгар московской зимы.

Упитанный вахтёр на входе поинтересовался:

— К Софье Сергеевне с цветочками? Кабинет директора, второй этаж.

Из распахнутого настёж кабинета рвались залпы шампанского, разговоры, шуточки — этаж гудел. Она отдышалась и робко заглянула. Никотиновая дымка, запахи спиртного и селёдки, возбуждённые красные лица, а во главе стола царила Софья Сергеевна.

— К виновнице торжества? — любопытствовал сидевший у двери толстяк с бисерным потом на лбу. — Проходите, проходите!

Содрав и скомкав газету, Геля со своими цветочками протискивалась между стульями. Застрав на полпути, выкрикнула с профессиональным пафосом молодой учительницы:

— Софья Сергеевна, вы — лучший экскурсовод в Москве! Вы — самый драгоценный камень! Таким и должен быть директор геологического музея, а не какой-нибудь бесчувственный бюрократ. Поздравляю!

Екатерина Полянская

Ломкой линией судьбы

* * *

Ох уж мне этот «маленький человек»!

Богачи его грабят,
чиновники — издеваются,
государство — выжимает, как тряпку.

Он мается в очередях,
тянет до пенсии,
потом — выживает на пенсию.

Это с него срывают шинель,
его сбивает карета,
«Мерседес» обливает грязью.

Это его
вечно преследует Медный всадник.
Вся жизнь его — страх,
вся жизнь — обида.

Бедный «маленький человек»!

Так дайте же, дайте ему
немножечко силы,
хотя бы капельку власти,

чтоб он ухмыльнулся
и сплюнул сквозь зубы:
«...давай вали, пока цел!»

И дальнейшее эхо
смогло, наконец, отозваться:
«...да чё с ним возиться... в расход!»

* * *

То война, то иная печаль,
То тюрьма, то безумная воля...
Ах ты, Родина — дымная даль,
Материнская горькая доля.

То разбойник пирует, то — вор.
Глядь, от жизни остался обмылок.
Если ты не расстрелян в упор,
Значит, пулю получишь в затылок.

Но высокие звёзды чисты,
И во тьму подступающей ночи
Светят строгие лики святых,
Богородицы скорбные очи.

В Комарово

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.

Анна Ахматова

Анна! Анна! — Тишина.

Александр Блок

Льдисто, ветрено и звёздно.
Ночь бездонна и бесслёзна.
Только лишь сосна сосне
Тихо шепчет в полусне:
То ли — «слышишь...», то ли — «поздно...».
Меж ветвей чернеют гнёзда,
Меркнет свет в чужом окне.

Где — в сиянии, во тьме ли
Те, кто всё ж пройти посмели
Ломкой линией судьбы,
Тонкой вязью ворожбы,
Острым лезвием метели?..
Анна, помнишь, как шумели
Царскосельские дубы?

Только ветра вздох глубокий,
Только тающие строки:
«...Эта женщина больна,
Эта женщина одна...»
Только лишь срока да сроки —
Дом казённый, путь далёкий...
«Анна! Анна! — Тишина».

Серебряный век

Пока они ждут обновления,
Свободы неведомой ждут,
Смыкаются накрепко звенья,
И время свивается в жгут.

Они ещё шутят, смеются,
Нахваливают пироги,
А где-то уже раздаются
Патрульных глухие шаги.

Ещё не померкли улыбки,
Не взорван привычный уют,
И только цыганские скрипки
О вечной разлуке поют.

В последнем порыве всё выше
Почти отзвучавший пролог,
И скоро, так скоро услышит
Смертельную музыку — Блок.

Ода пингвину

Алексей Максимыч Пешков
Взял и пингвинов обидел:
Он сказал, что пингвин — жирный,
Глупый, а ещё — трусливый.
Ради красного словечка
Наклепал на птичек Божьих —
В биологии простейшей
Он, видать, не разобрался.

Наши пингвины прекрасны,
И умны, и благородны:
Всем довольны, что имеют,
И в быту неприхотливы,
Выживая век за веком
В ледяной стране пустынной —
Там, где гордый буревестник
Просто мёрзлой тушкой рухнет.
Вот попробовал бы классик
Со своим-то нищестанством
Греть яйцо в снегу на лапах,
Мягким брюшком укрывая.

Ну а пингвин под водою
Как по воздуху летает,
На лету хватает рыбку
И детишек малых кормит.
В общем, пингвину хватает
И забот, и дел серьёзных...
Так зачем ему, скажите,
Ко всему ещё и буря?

Пусть крылатый шизофреник
То смеётся, то рыдает,
Пусть он бури предвещает,
С высоты пусть гадит смело!
Мне же всё-таки милее
Храбрость скромная и стойкость,
Ей пою хвалу и славу,
И — да здравствуют пингвины!

* * *

Тонкой стрелкою прошит,
Час полуночный дрожит
В тишине пустой и гулкой.
Всё у нас не навсегда,
Наше горе — не беда.
Над ослепшим переулком
Просыпается звезда.

Не надейся и не плачь —
Пусть река уносит мяч
Дальше и бесповоротней.
Тают памяти круги —
Не желей, не береги,
Затихают в подворотне
Торопливые шаги.

Отмель времени. Отлив,
Словно вздох, нетороплив.
Ломкой зыбью серебристой
Гаснет чуть заметный след
Лёгких снов, где смерти нет, —
Только льющийся, ручьистый,
Безмятежно-тихий свет.

Евгений Каминский

Рыба

Повесть

Пека и Юрик к середине сезона оголодали окончательно. Да так, что их животы сначала подобрались, а потом самопроизвольно втянулись внутрь, грозя прилипнуть к позвоночнику. И способов подкормиться у них не осталось никаких.

Ну да, ходили эти бессребреники в тундру за черноголовиками — ядрёными подберёзовиками, не знающими пошлых червяков. Однако эти грибы лишь в начале полевого сезона были в достаточном количестве, и пожаренные на подсолнечном масле или даже без ничего, на воде, вполне утоляли волчий голод (если, конечно, по сковородке на каждого). Но прошёл срок черноголовиков по склонам окрестных сопок, а следующий на горе бессребреникам всё не проклёвывался.

И таяли Пека и Юрик церковными свечами, прислушиваясь к своим гулко урчащим утробам, и всё меньше улыбались незаходящему тут солнцу.

Но однажды перед ними открылась перспектива наесться до отвала. Начальник комплексной геолого-геофизической партии Николай Рубанов, весь полевой сезон проводивший на раскладушке в своём командирском КАПШе (капитальная арктическая палатка Шапошникова) и оттуда осуществлявший руководство исследованиями, приказал снарядить трактор для похода к дальней гавани за плавником и топляком, регулярно выбрасываемым Ледовитым океаном на прибрежную гальку и архинеобходимым для топки лагерных буржук.

К берегу дальней гавани почему-то всегда прибывало достаточно всякого строительного лесу, утерянного в этом или прошлом веках, а к рубановскому берегу — никогда.

Нужно было ехать за двадцать километров по раскисшей тундре, там цеплять на трос два-три огромных бревна и тралить их вдоль берега до самого лагеря, а уж в лагере пилить да рубить эту добычу на поленья.

И подрядились Пека с Юриком в поход за плавником и топляком — авось начальник выдаст им за это по банке тушёнки из НЗ.

Рубанов кивнул, одобряя инициативу бессребреников, но о тушёнке не заикнулся. Да и как заикнуться, если скромные бессребреники на неё даже не намекнули?

Каминский Евгений Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Лауреат премии Гоголя (2007) и множества литературных конкурсов. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 3.

Трактором почему-то управлял радист, лет двадцати семи подхалим, лизоблюд и по гамбургскому счёту бездельник — правая рука Рубанова и предводитель артели тупорылых (о них позже), живший с начальником в одной палатке, чтобы связь с материком была у последнего всегда под рукой.

Радист взял с собой к дальней гавани ружьё. И не зря.

На подходе к точке забора энергоресурсов прямо по курсу была обнаружена перепёлка с выводком. Эта дура вместо того, чтобы припасть к земле и слиться с окружающим ландшафтом, принялась пересчитывать свой выводок. И радист, не прекращая движения доверенной ему техники, перестрелял их всех, бросившихся из-под траков врассыпную. Потрясённые расстрелом бессребреники собрали во мху трепещущую, обagrённую кровью плоть и снесли её стрелку-радисту, полагая, что теперь им обеспечена на ужин не просто свиная тушёнка, но перепёлка во фритюре на сливочно-грибной подушке. А может, и фаршированная трюфелями!

Взвинченные подобными гастрономическими фантазиями, бессребреники с энтузиазмом ворочали брёвна, заводили на них петлю стального троса, петушками бежали двадцать километров по тундре рядом с трактором, следя за тем, чтобы петля не сползала с вязанки, и, если надо, поправляли её. Поправляли и предвкушали перепелов с трюфелями...

Дождавшись вечера, как всегда голодные, но горящие надеждой Пека с Юриком робко пришли к палатке Рубанова за своей долей.

В палатке, по всему, пировали; разбойничий смех, доносящийся оттуда, саднил барабанные перепонки. Вокруг были разбросаны перепелиные кости, перья и потроха.

Пека интеллигентно постучал по тенту палатки костяшками пальцев, и почти тут же изнутри вынырнула голова одного из пирующих с физиономией, сияющей начищенным медным самоваром.

— Чё надо? — рявкнул он.

— Э... — начал было Пека, не зная, с чего начать.

— Мы тоже на охоте были, — помог Пеке Юрий. — И куропаток этих... давили, — неожиданно соврал он, надеясь таким образом указать на личную причастность к удачной охоте и тем самым обосновать законность притязаний на долю от добычи.

— Ну и что? — возмутился самоварный.

— Нам хотя бы одну птичку на двоих, — взмолился Пека.

— А! — дошло до самоварного. — Поздно. Только кости остались. Валите отсюда.

И Пека с Юриком отвалили. Потащились к себе в палатку пить чай с галетами. Это они пока ещё могли себе позволить.

Последнее время чай с галетами — всё, что оставалось им, чтобы утешить себя за Полярным кругом.

Для этого в их отдельной палатке сначала топилась буржуйка. (Рубанов щедро делился дровами, которые Пека с Юриком, правда, должны были ещё напилить и нарубить на себя и на него.) На железо буржуйки ставились эмалированные кружки с «губой», в которые была залита талая вода, а то и вложен с горкой снег, собранный возле палатки. Рядом выкладывались шесть галет, не уступавших по прочности подмёткам яловых сапог. Буржуйка выразительно пощёлкивала, её железо таинственно светилось, талая вода в кружках закипала (бессребреники тут же сдёргивали каждый свою кружку с раскалённого металла, сыпали в кипяток с избытком заварку — «тридцать шестой» чай, — следом бросали по куску, а то и по два, рафинада, весело поглядывая друг на друга). Галеты же, сухие, безнадежно твёрдые, вдруг начинали

увеличиваться от жара в размерах, расти как на дрожжах, вбирая в себя горячий влажный воздух. И при этом размягчались в пух. Наконец, бессребреники брали по галете, откусывали и прикрывали глаза от удовольствия. Пережевав и проглотив первый кусочек, они запивали из раскалённых кружек сладким и густым, как дёготь, чаем, обжигая язык и нёбо.

Ещё они могли приготовить себе овощной салат из репчатого лука, соли, перца и уксуса. Одна луковица (в начале полевого сезона бывало две и даже три) резалась на тонкие кругляши, кругляши давились столовой ложкой в миске, потом придавленное присыпалось солью и перцем, заливалось девятипроцентным уксусом и оставлялось в покое. Через четверть часа приготовленное блюдо делилось бессребрениками пополам и немедленно употреблялось. С хрустом и со слезами на глазах.

— Лучшее средство от цинги, и ведь как вкусно! — сообщали они друг другу, для убедительности кивая и вспоминая при этом участие в каком-нибудь застолье.

О вкусах не спорят, и, например, на свадьбе многие упорно кричат «горько!» сладко целующимся новобрачным, видимо, упреждая, что это «сладкое» весьма «горько». Но новобрачные этого не желают понимать. И те и другие, конечно, правы, потому что о вкусах не спорят. В самом деле: одни не могут себе представить, как можно не любить жареные свиные ножки и отказываться от водки, когда угощают, а другие жить не могут без эклеров и корзиночек с кремом, видя в выпитой кем-то водке один только мрак и ужас.

Но что такое «вкусно»? Барская ли прихоть, дамская ли блажь, а может, вредная привычка, губительно влияющая на печень? Всё возможно.

Что и говорить, вкус — это нечто знакомое всем, но непонятное, хотя и объяснённое наукой. Та утверждает, что вкус — это ощущение во рту, возникающее при воздействии различных веществ на рецепторы вкуса, что у нас на языке. Информация от рецепторов электрическими импульсами передаётся по нервным волокнам к ядру одиночного тракта продолговатого мозга. Затем поступает в таламус, и далее — в постцентральную извилину на островок коры больших полушарий, где и формируются вкусовые ощущения.

То есть вкус не во рту, а в мозгах!

Вот такой обман и слабое электричество.

Почему обман? Да надень на вашу голову колпак с проводами и пропусти через провода электрический ток необходимой частоты, и сухарь, который сунут вам в руки, мол, ну-ка, пожуй, братец, может показаться бутербродом с чёрной икрой.

Пека и Юрик — студенты-дипломники, первый с кафедры геофизики геологического факультета ЛГУ, второй с кафедры геоморфологии географического факультета, троечники и полные бессребреники — проходили преддипломную практику на побережье одного из Новосибирских островов в начале восьмидесятых годов прошлого века.

Но почему обычных троечников, которых пруд пруди во всяком высшем учебном заведении, тут именуют бессребрениками? По какому праву автор присваивает им это почти сакральное звание?

Всё дело в медных монетах — копейке, алтыне и пятаке, которые нет-нет да заводились в те далёкие времена в карманах Пеки и Юрика. А вот так называемое серебро — гривенник, двугривенный, полтинник и прочие хорошие монеты — почти никогда.

Бывало так: ошалевший от счастья Пека, только что отхвативший на экзамене вожденный трояк, стоит возле киоска, где разливают пиво, в очереди похмельных мужиков, хочет дешёво и сердито здесь и сейчас отметить такое значительное для него событие. Шарит рукой по карманам, а в них только пятнадцать копеек — одни медяки кровные. Но ведь кружка как стоила, так и стоит двадцать две копейки. Можно, конечно, у бабы в белом халате поверх потёртой овчинной шубы, что тут всем распоряжается, положив красную длань на пивной кран, попросить маленькую кружку за одиннадцать копеек. У неё эта кружечка на двести пятьдесят граммов обычно дожидается какого-нибудь интеллигента, которого жена выгнала из дому. Но с маленькой тебе никакого проку: что пил, что не пил. Так что лучше покинуть очередь мрачных мужиков, а свои медяки приберечь до лучших времён.

Немного о бабе в белом халате поверх потёртой овчинной шубы.

Прошлая эпоха в достатке расставила по нашей державе бронзовых, гранитных и гипсовых Лениных с лёгким вкраплением в эту расстановку Марксов и Энгельсов. Правда, последних двух привлекли разве что для полноты звучания идеи мировой революции. Потом эту симфонию эпоха немного разбавила сталеварами и космонавтами, а кое-где и пожарными, перевитыми, как Лоокооново семейство, но не змеем, а пожарным рукавом.

И это справедливо.

Но вот о бабах в пивных ларьках-киосках эпоха почему-то не подумала. Однако кто как не они возвращали к жизни тысячи тысяч мужиков по утрам, особенно в понедельник?! Кто как не они, служительницы лёгкого алкоголя, делали тёмных людей со свинцовыми лицами светлыми, а убитых тяжёлым ручным трудом — вечно живыми хотя бы на пять минут?! А уж если найдётся в карманах этих просветлевших вобла, то и вообще — счастливыми.

О эти бабы из пивных ларьков! Все как на подбор восьмипудовые, окатистые, с настороженными глазами-щёлками на выдающихся лиловыми ланитами и короткими носами физиономиях, не теряющие присутствия духа даже в процессе наглого недолива пива в кружку клиента. Эти бабы умели быть при пивном кране на своём месте, умели за него держаться, ежемесячно без всяких напоминаний заноса уважаемому Николаю Кузьмичу «котлету» трёхрублёвок, а глубокоуважаемому Степан Егорычу «котлету» пятирублёвок. И Николай Кузьмич со Степан Егорычем всегда с нежностью смотрели им, выходящим из кабинетов, вслед, ставили их в пример своим подчинённым и, если надо, защищали от посягательств бесчисленных правдоискателей, требующих долива пива и тем самым подрывающих основы спокойствия государства.

А какой дома у них бывал порой Версаль! Как восхитительно сверкали хрустальные люстры в комнатах их квартир и хрустальные вазы в многочисленных их сервантах! Как затмевали воображение попадавших сюда водопроводчиков по случаю внезапного потопа персидские ковры ручной работы и картины неизвестных художников в тяжелых рамах! Как ломались от кримпленовых костюмов и платьев, порой даже ненадёванных, их шифоньеры! Не говоря уже о каракулевых шубах, норковых шапках и меховых сапогах немецкой фирмы «Саламандра»! Но нет, нельзя. Раз этого не должно быть у посконной бабы в белом халате поверх потёртой овчинной шубы, то, значит, не может быть ни под каким видом. Вот и жили они как бойцы невидимого фронта. И ни каракулевой шубы, ни норковой шапки, ни меховых сапог немецкой фирмы «Саламандра» не могли себе позволить ни на работе, ни после неё. Разве что надеть кримпленовое платье под потёртую чёрную овчину да на скрытые нитяными перчатками пальцы с ярко-красным лаком на ломаных ногтях накрутить золотые

шайбы с рубинами. Хотя какой в том прок, если ни засушенная библиотечная дама, ни заморённая школьная училка, ни даже врачаха-терапевт, скачущая как блоха по адресам окрестных больных, не увидят на тебе такую красоту, чтобы потом умереть от зависти?!

Баба в белом халате поверх потёртой шубы... В этом есть что-то эпическое. И если надо ещё кому-то в промышленных городах да рабочих посёлках той эпохи ставить памятник, то непременно ей — бабе из пивного ларька.

Полагаю, бронза под это дело не подошла бы. Баба всё же не государственный деятель, не поэт и не трибун. И гранит был бы излишним — слишком пафосный материал для человека из народа. А вот баба из чугуна — самое то. Так и вижу: стоит она в халате поверх потёртой овчинной шубы и с кружкой в руках в городском парке культуры и отдыха, расставив свои крепкие ноги на ширину плеч, и смотрит в будущее.

Вот вам ещё один артефакт, дарящий горечь невосполнимой утраты, смешанной с чувством благодарности. Что было утрачено? Да хотя бы та самая очередь за пивом рано утром в понедельник: чьё-то тяжёлое плечо, упёртое вам в спину, чьё-то кислое дыхание рядом, когда поначалу вам не хочется жить, любить, верить, и надо просто терпеть. Однако стоит лишь дотерпеть и выпить, наконец, кружку — и снова хочется жить, любить и верить.

То же самое (отсутствие достаточных средств к существованию) постоянно испытывал и Юрик.

У Юрика был довольно высокий рост и тёплый, влажный, немного покорный взгляд из-под тёмных ресниц. Так что никакой девице просто невозможно было не заинтересоваться Юриком. И потом, Юрик умел сказать женщине какую-нибудь невыносимо лестную для неё банальность и при этом тихо покраснеть.

Бывало, собирается он на свидание с очередной овечкой с филологического факультета и всё не может купить подходящий для такого случая букетик. Ни на один из них не тянет сумма звенящих в его кармане медяков. Ещё бы пару «серебряных» гривенников, и можно было бы купить овечке красную гвоздику и даже увядшую, но всё ещё бодрящую розу. И прётся Юрик, пряча грусть под тёмными ресницами, к овечке в гости с пустыми руками. Бредёт, не зная, что овечке, в истерике наносящей на лицо свой самый боевой раскрас, нужен не какой-то букетик мёртвых цветов, а живой Юрик с его улыбкой и многообещающим влажным взглядом из-под таких тёмных ресниц...

Юрик был, ясное дело, Юрием по паспорту.

А Пека? Пека звался Петром.

Пекой Петра именвала его жена (ей казалось, что так будет ласковей, нежели просто Пётр, Петя или Петруша). Жена Пеки и днём и ночью смотрела на бессребреников с фотографии, прикреплённой Пекой над раскладушкой. Женщина, в лице которой было что-то решительное, тянула к бессребреникам сжатого железными ладонями голого, по всему виду, орущего благим матом младенца и улыбалась, обнажив острые клыки. И глаза её при этом говорили: «Вот только попробуй!»

Однако Пека даже не думал пробовать, ежедневно после смены раздеваясь в палатке до кальсон и уже так, неглиже, пытаясь досыта налюбоваться женой и младенцем.

Более всего Юрик и Пека почитали на этой, последней для себя, преддипломной практике завтрак, обед и ужин.

Но было у Пеки ещё одно, помимо приёма пищи, любимое занятие: он слушал телеграммы, ежедневно приходившие ему от жены и зачитываемые по радиосвязи с Большой земли радистом, едва сдерживавшим там, на Большой земле, гомерический смех.

«Пека, милый, — докладывал Пеке, в условленный час включавшему радиосвязь (у бессребреников была своя связь с материком — на ней настоял Университет, посылавший своих питомцев за Полярный круг и боявшийся там их потерять), радист, готовый прыснуть, — не забывай, что у тебя есть жена и дочь (тут радист мог бы заготовить во всё горло, если бы только не чувствовал, что женщина, которая посылает Пеке такие телеграммы, непременно ему отомстит, если узнает, что он хохотал как сумасшедший, зачитывая её мужу это послание), которые ждут тебя дома, потому что опять приходил водопроводчик, снял с нас три рубля, а вода из душа всё равно чёрная...»

Слушая телеграмму, Пека блаженно улыбался и, кажется, был безмерно счастлив, несмотря на чёрную воду из душа на голову собственной жены.

Юрик жалел Пеку, особенно после того, как однажды прочитал в глазах его жены это «Вот только попробуй!».

«Как же не попробовать, — вздыхал Юрик, — когда в лагере живёт Марина... Бедный Пека!»

В полевом лагере действительно жила Марина, двадцатилетняя девица, похоже, сбежавшая от родителей на волю, ещё на материке принятая в комплексную партию на должность коллектора.

Это была романтически настроенная, довольно миловидная блондинка из той породы девиц, что цветут ярко, но быстро увядают, обрастая диким мясом и женскими болезнями. В свободное от работы время Марина упорно рисовала длинношеих и длинноволосых кисейных барышень, рядом с которыми в выразительных позах безмолвствовали молодые люди с усами и испанскими бородками, в камзолах и широкополых шляпах. Молодые люди могли также красоваться возле барышень, сидя на лошадях. Лошади у Марины не получались и больше напоминали не породистых скакунов, горячих жеребцов или грациозных кобыл, а сивых меринов и совсем уж непотребных кляч. Ах, как нетерпелось Марине усадить кисейную барышню боком к усатому молодцу на горячего жеребца, и чтобы тот отвёз обоих к счастью. И однажды на Маринином рисунке какой-то сивый мерин повёз в неизвестном направлении сидящих на нём барышню и молодого человека. Всю ночь прокрутившаяся в своём спальнике Марина ближе к утру разорвала эту композицию в клочья, поскольку не могла доверить счастье любящих друг друга молодых людей неказистой лошади...

Марина ходила по лагерю, распустив волосы, задрав нос и ничего не боясь. Она буквально путалась у мужиков под ногами. И когда те, взмыленные срочной работой, кричали ей в воспитательных целях что-то грубое, но справедливое, отбивалась ещё в школе назубок заученными цитатами из классиков и упивалась своей безнаказанностью. В общем, вела себя как оторва, специально провоцируя коллектив комплексной партии. Особенно от неё доставалось начальнику партии. Рубанов первое время понимающе терпел Марину, но спустя месяц и он стал призывать её к порядку, грозясь отправить первым же бортом на материк. Но той, кажется, только

этого и надо было. Глаза её блестели, и торжествующая улыбка не сходила с румяного лица.

Едва ли не каждый вечер Марина убегала за романтикой на ближайшую к полевому лагерю буровую.

Там её ждал худой парень с мутными глазами: то ли помощник бурового мастера, то ли помбура (по сути — грузчик, чернорабочий, обязанный подтаскивать к буровому станку штанги и скручивать их), прыщавый, лет двадцати-двадцати пяти насупленный дрищ (кто тут назвал его дрищём, неизвестно, но все с удовольствием поддержали), у которого и сказать-то что-то вразумительное при общении с коллегами не всегда получалось. При этом дрищ имел обыкновение стрелять у первого встречного папиросу, сигарету или что-нибудь, что можно покурить, и уже по истечении месяца своего пребывания на буровой всё свободное от работы время ползал по тундре в поисках белого мха, который, как ему казалось, можно курить не хуже «Беломора».

В лагере полагали, что у Марины с дрищём роман. И Рубанов, не могший смотреть на это обстоятельство без «отцовского» содрогания, как-то с болью в голосе посоветовал Марине хотя бы... предохраняться, поскольку в противном случае у неё может родиться такой же, как помощник бурового мастера, прыщавый дрищ.

— Я же не полная дура! — взвилась Марина, ничуть не смущённая откровенным советом, и посмотрела на Рубанова с вызовом и... ещё с чем-то, не очень понятным Рубанову.

Начальник комплексной партии Николай Рубанов был тёртым поворотами судьбы калачом. Манера его поведения на людях — либо равнодушно соглашаться со всем ему предъявляемым, либо всё отрицать как небывальщину и при этом самым нейтральным образом улыбаться — была выкована неблагоприятным стечением обстоятельств, сопутствующих длительным заполярным экспедициям, закалена в горниле противостояний множеству инспекторов и ревизоров по хозяйственным и экономическим вопросам, а также испытана на прочность специалистами по идеологическому воспитанию и политическому надзору.

Когда он что-то кому-то говорил, то всегда смотрел поверх головы, словно говорил не собеседнику, а кому-то другому, стоящему где-то далеко-далеко, едва ли не на горизонте. Туда — поверх головы слушателя — струился поток его речи. И потому всякому, кто внимал речам Николая Рубанова, было совсем не страшно, даже если речь шла о жутких для него вещах. Ведь всё то страшное, обращённое к нему, ей-богу, относилось не к нему, а к кому-то другому, стоящему там, за спиной, далеко-далеко, едва ли не на горизонте.

Сипловатый голос Рубанова имел приятное металлическое дребезжание, какое имеет водосточная труба во время летнего ливня, однако, при этом был ровен и даже певуч. Прямая речь Рубанова не допускала никаких лакун вроде «э... да...» или «ну...» и текла как полноводная река, в русле которой нет ни порогов, ни тихих заводей, ни чёрных омутов.

Даже когда Рубанов кого-то распекал, грозя лишением премии или увольнением по статье, распекаемый почему-то успокаивался, словно и лишение его премиальных, и увольнение было как раз тем, о чём он всегда мечтал. Одним словом, Рубанов был чутким руководителем, снисходительным к человеческим слабостям и людским порокам.

И вот ещё: Николай Рубанов был, слава Богу, членом Коммунистической партии.

Ксения Аксёнова

И нам когда-нибудь случится

* * *

...и нам когда-нибудь случится
узнать, что время шло насквозь.
Покажет пойманная птица
пустую горсть
тому, кто жадно дышит прошлым,
кого отчаянно несёт
в такую оторопь, что можно
забыть про всё.

* * *

Сколько сил извёл на зло,
зло не извелось.
Никому не повезло —
надломилась ось
векового колеса,
муторной возни...
Ты не ешь меня, лиса,
а с собой возьми —
в лес прожорливой хандры,
сказки без конца.
У лисы глаза хитры, —
сердце — мертвеца.

Но хандра ещё хитрей
и сильнее зла —
и зверей, и незверей
в пасти унесла.

Аксёнова Ксения Александровна — поэт, переводчик. Родилась в 1989 году в Липецке. Окончила ЛГПУ имени П.П.Семёнова-Тян-Шанского. Преподаватель английского языка ЛГПУ, кандидат филологических наук. Стихи печатались в журналах «Урал», «Звезда» и других. Живёт в Липецке. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Это блажь или глупость — понятно ежу,
помешательство, вымысел, прихоть.
Я шагаю по кругу, по кругу хожу
котлована, где раньше был выход.

Ты со мною идёшь, мы теперь не уснём,
чтоб не рухнуть на дно котлована.
И гори оно всё бирюзовым огнём,
синим пламенем самообмана.

* * *

Казнить — помиловать нельзя:
изрублен дом, распилен дуб,
из-под щепы тебя не взял
к себе небесный лесоруб,
но отпустил на этот свет,
больничный, пресный, как мука, —
и ты узнал, что смерти нет.
И жизни не было пока.

* * *

Паучком-словоплётком тяну
сухожилия порванных строф
и гляжу, как в смолистом дыму
гаснут смыслы сосновых костров.

Я живу на тугой тетиве
чьих-то строк, полыхающих в ряд,
и снуют голоса в голове,
и слова оголтело горят.

Я в огне, шелохнуться нельзя,
это животворящий огонь
янтаря. Постепенно скользя,
он меня оживит потихонь...

Алексей Василенко

Казус Серёгина

Рассказ

1

Когда подошли они к Джухтакаванку, в размытом утреннем воздухе разбился на мелкие капельки хрустальный колокольчик. Это какая-то птица, названия которой Серёгин не знал, почему-то среди лета вспомнила весну. Осколки покатались по камням монастыря и запутались в густой траве, охватившей кольцом оба храма. Джухт. Пара... Кажется, персидское слово, оставшееся в языке народа, персами порабождённого когда-то. Ещё только услышав впервые название монастыря, Серёгин захотел увидеть это заброшенное сооружение, но всё никак не получалось. То захватывала очередная глава романа, над которой он исправно работал, так что не до красот окружающих было. То свалились на голову несколько знакомых композиторов, отдохавших здесь же, в Дилижане, но на другом конце посёлка. После прекрасных, но всё-таки утомительных встреч, затягивающихся на весь день, работать было невыносимо. Серёгин пытался записывать впечатления в особую дневниковую тетрадь, которую, не признаваясь в этом даже себе, готовил целенаправленно для новых поколений, которые будут... потом... После. Но и запись получилась неудачной. Почему-то его потянуло в описательство, появились не наблюдения, а какие-то цифры:

«Дом творчества стоит здесь, в стороне от дороги на Ереван, его с трассы не видно в густой растительности, и дорога уверенно и спокойно катится вверх бесконечным потрясающим серпантинном в столицу республики. Так она карабкается до двух километров над уровнем моря, до Севанского перевала, чтобы потом уже скатиться с гор к миллионному городу в Араратской долине...» — И прочее в таком же роде.

И именно тогда он впервые почувствовал невозможность вдруг сорваться и полететь туда, куда давно хотелось попасть: к старине, к древним памятникам, к Севанскому монастырю, стоящему на полуострове, вторгающемся в удивительной красоты озеро с ледяной водой потрясающей чистоты. Её, эту воду, если ты отважишься поплавать, можно пить и пить, находясь в ней же вдали от краёв этой чаши в ладонях гор... Или к Агарцину, тоже древнему монастырю, который и находится-то совсем

Василенко Алексей Юрьевич — сценарист, публицист, прозаик. Родился в Тбилиси, более сорока лет жил и работал в Ереване: газеты, радио, телевидение. В издательствах Костромы и Москвы вышло несколько исторических романов. Живёт в Костроме.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2014, № 2.

недалеко, надёжно спрятавшись от досужих любопытствующих глаз в потаённом, заросшем густым лесом ущелье. Серёгин побывал там буквально на второй день после того, как утряслось его проживание в Дилижане. Знакомясь с центром городка, он увидел туристов, садившихся в автобус, и дал волю авантюрным наклонностям: подошёл, никого ни о чём не спрашивая, и присоединился к группе, услышав ответ гида на вопрос женщины мощного сложения:

— Девушка, не волнуйтесь, обед в два, и мы вернёмся сюда к этому времени обязательно.

Поездка Серёгина совсем не устроила. Он любил в таких местах тишину и возможность посидеть молча, впитывая окружающее, подмечая мельчайшие детали. Но было много шума, часть туристов откровенно развлекалась, рассказ гида им был просто не нужен. В общем, следовало приехать сюда ещё как-нибудь, а вот это-то как раз, как обнаружил он позже, и не получалось. От поездки осталась в спецтетради только короткая запись про мальчика, сына здешнего сторожа. Мальчик абсолютно не реагировал на незнакомых людей и очень сосредоточенно камнем с острыми гранями сдирал зелёную кожуру с грецких орехов. Они уже начинали падать с дерева, распространявшего головокружительный, терпкий ореховый запах...

И вот как раз тогда, когда Серёгин в рабочих антрактах начал обдумывать, как ему попасть в Агарцин снова, возник Аракел.

То есть, возник он в первый же день, когда только что приехавший в Дилижан Серёгин бродил, не обращая внимания на окружающие красоты (это потом, потом... всё посмотрим, всё узнаем... сейчас нужно найти ночлег...), расспрашивая всех подряд, где можно на месяц-другой снять комнату. Весть об очередном дачнике не очень-то заинтересовала дилижанцев. Местечко считалось курортным ещё в допотопные дореволюционные годы, сюда стекались тифлиские барыньки с ребятишками, оставив дома мужей, занятых святым делом выбивания денег из всего, что подворачивалось под руку. В Дилижане, как позже узнал Серёгин, образовалась даже группа своеобразных летних извозчиков, исправно возивших в своих пролётках пышных гурий с их чадами по красивым местам в окрестностях. Так что появление нового человека в посёлке не вызвало особого интереса, несмотря на московское его происхождение, на статус писателя, на довольно известное имя... Но! Провинциальный городок, он и в Армении провинциальный: слухи в таких местах распространяются со скоростью горного эха. Поэтому Серёгин не очень удивился, когда прямо на улице к нему подошёл угрюмоватый небритый мужик и спросил сразу в лоб:

— Комната хочис?

Серёгин засуетился; перспектива к вечеру отправиться в гостиницу его никак не устраивала. Стал объяснять незнакомцу, что он писатель, что ищет тихое место для очень серьёзной работы, что желательно, чтобы не было в доме вездесущей ребятни, которая обладает удивительной способностью просачиваться повсюду, куда их не просят.

Аракел (он уже сказал, как его зовут) слушал вроде бы невнимательно, поглядывая по сторонам, но не пропустил, как оказалось, ни одного слова. Когда Серёгин выпалил все свои условия, Аракел утвердительно кивнул:

— Этот всё ест. Комната на первом этаже, отдельный вход. Один метр начинается бостан... э-э, огород. Дети ест, но нету здес. Уехали. Уже болшие стали. Кушат готовит вкусный один красивый женщина...

— Ваша жена?

— Жена тоже нет. Уехал. Сапсем. А женщина приходит, убирает, кушать приготовит, огород смотрит, потом уходит. Другой раз не уходит...

Простота, с какой Аракел в нескольких словах рассказал о своей жизни, восхитила Серёгина. О цене столковались быстро, она вполне укладывалась в тот диапазон, о котором ему рассказали, когда он отправлялся сюда. Дом был на окраине, недалеко от одной из трёх дорог, связывающих Дилижан с остальным миром, но направление это было совсем не таким оживлённым, как проходящая через городок трасса Ереван—Тбилиси. В общем, Серёгин остался.

Первые несколько дней он вообще никуда не выходил, полностью погрузившись в уже порядком подзабытое наслаждение от удающейся работы. Отрывался от очередного листа бумаги только когда заглядывал осторожно стучавшийся Аракел и выдавал информацию:

— Рипсимэ кушат зовёт.

При этом Аракел почему-то всегда смотрел в потолок, избегая даже случайно наткнуться взглядом на Серёгина в ворохе бумаг, будто опасался увидеть что-то неприличное.

После очередной еды, наполненной какой-то очень простой, но удивительно притягательной закавказской энергетикой, Серёгин вновь нырял в бездонную глубину своего будущего романа, хотя в душе он уже необъяснимым образом чувствовал, что вся глубина рукописи пока исчерпывается тем, что автор не знает, куда повернёт сюжет в следующей главе. Смутные ощущения подобного рода постепенно накапливались, и примерно на середине следующей главы взорвались сброшенными на пол листами и решением бросить всё к чёртовой матери, потому что всё это никому не нужно и вообще никем и никогда не будет оценено.

Успокоившись, он с грустной самоиронией отсеял уничтожительные мысли как глупость, порождённую стрессом. В остатке было твёрдое решение заняться чем-нибудь другим да и просто отдохнуть, в конце концов. И он вышел за порог, к большой яблоне на краю огородика и маленького виноградника, без которых, как уже догадался Серёгин, жизнь в Дилижане, и, наверно, и во всей Армении, просто невозможна. Близился вечер, солнце уже приопустилось к вершинам. Полностью одетый по-походному, Аракел длинным, остро заточенным австрийским штыком времён Первой мировой чистил рыбу.

В этом было что-то несуразное. И дело даже не в штыке, который Серёгин увидел у Аракела уже во второй день пребывания здесь. Тогда на удивлённый вопрос постояльца Аракел ответил коротко:

— Бостан копал, нашёл. — В наступившей паузе хозяин абсолютно точно услышал недоумение и пояснил: — Да, здес болшой война не был. Но такой храцан... э-э... винтовка был у красных тоже, у дашнаки тоже. Кто-то, наверно, старый хозяин, этот хштик прятал.

Этим интерес Серёгина был удовлетворён, но что-то всё же свербило в голове. Он сообразил: рыба. И дело не в самом наличии рыбы. Было бы странно, если бы при множестве ручьёв и речушек её здесь не было. Но Дилижан и окрестности давно уже стали заповедником, где не только охота, но и рыбалка запрещены. А вот Аракел... Он явно только что вернулся откуда-то, рыба, переложенная крапивой, ещё шевелила жабрами.

Поздоровавшись, Аракел гордо сказал:

— Это настоящи форел. Надо горы ходит, он маленьких речках ест. Другом месте нету...

Обрушивать в хозяине радость добычи Серёгин не стал и не задал вопрос про заповедник. Про крапиву всё-таки спросил:

— А это зачем?

Аракел засмеялся, как над вопросом малого несмыслёныша:

— Летом жарко, форел быстро портил. А с этим травом, смотри, он ещё живой!

Потом он долго колдовал с кастрюлей, засыпая в неё какие-то травки и листья, аккуратно уложил на это ложе небольших двадцати-тридцатисантиметровых рыбок:

— Это не форелин ребёнок, Серёгин-джан. Это взрослый рыба. Ему обязательно надо с головой варит, он самый вкусный!

...Ужин был божественным. Аракел налил в глубоком подвале кувшин вина из тоже кувшина, но огромного и зарытого в землю, с почти полуметровой ширины горлом. Большой кувшин назывался карасом. Оказывается, подумал Серёгин, есть на земле и такое вот маленькое счастье, когда перед тобой стакан тёмно-красного вина, когда распласталась на побуревших от варки виноградных листьях радужная ручьевая форель с уже потускневшими синими и красными пятнышками на боках, светится на разломах удивительным розово-оранжевым цветом, и нет поблизости никаких общественных потрясений, лозунгов, выстрелов, где-то далеко-далеко все эти суетливые московские умники, вся эта толкотня на пути... К чему? К славе? К достатку? К известности-популярности? Зачем? Зачем это всё, когда есть «белый буйвол... и синий орёл, и форель золотая...

Нестерпимо захотелось врасти в эту жизнь, такую далёкую от мегаполисов с их проблемами. Захотелось вечерами выходить на порог и слышать голос дрозда, привыкшего сидеть на ветке яблони прямо напротив дверей...

2

Птица возле Джухтакаванка вела себя, как тот знакомый дрозд: сначала она попробовала в предутреннем туманном сумраке высказаться на волнующую её тему и умолкла в нерешительности, не закончив мелодию. Но сразу, будто через ущелье гора откликнулась, продолжила это увлекательное занятие. В нём уже не было такой неожиданности, такого экспромта, такой безудержной удали и неоглядности. Неведомый птиц пробовал голос, прислушивался к его звучанию и с осторожностью начинал свой несвоевременный распев с несложных упражнений. Серёгин заслушался. И почему это он решил, что это птиц, а не птица? Наверно, из-за профессионального подхода к столь серьёзному занятию, как пение, как гимн восходящему где-то за горами и пока совсем ещё не видному солнцу. Уже через несколько секунд он понял, что предутреннего птичьего хора, какой он ожидал услышать, нет и не будет... Серёгин замер, прислушиваясь, но лес вокруг чернел мрачной гравюрой, стоял не шелохнувшись...

Аракел вообще не реагировал. На слушавшего тишину Серёгина он смотрел со снисходительной полуулыбкой: чем бы дитя ни тешилось... Эту невысказанную иронию Серёгин легко уловил каким-то десятым обострившимся чувством — да, да, я, конечно, понимаю, что выгляжу, наверно, смешно... Только городскому жителю... Понимаешь?..

Аракел вздохнул:

— Э-э-э, Серёгин-джан, птичка пет будет, когда он свободный, когда гарун... ну, «весна» по-русски, когда сапсем маленький птичка из яйца не появился, забота нету. А чичас лето, Серёгин-джан, лето... А городской... Зачем городской? Я тоже слушал. Ранше. Чичас привик. Ви лучше здес посмотрите.

Аракел сидел эти несколько минут привала возле стены монастыря на камне, вывалившемся когда-то из стены.

Он ткнул пальцем на кусок жести, прибитый к стене. Табличка проржавела напрочь, можно было разобрать только отдельные буквы: *Охр... ...ством.*

Александр Вергелис

Не смотри в глаза морских котов

Рассказ

Почему он не удивился, снова увидев эту хитроглазую физиономию? Почему не испытал он изумления при виде этого потасканного, уставшего от бесконечных российских дорог немецкого корыта с косой трещиной на ветровом стекле? Именно на нём Горбылёву предстояло ехать обратно в Краснодар, откуда двумя неделями раньше его с женой и детьми привёз сюда, в Севастополь, этот маленький, юркий, похожий на карточного шулера человек. Звали человека почему-то Анатолий, хотя ему гораздо больше подошло бы другое — какое-нибудь экзотическое имя, ибо и выглядел он слегка по-восточному, и говорил как будто с акцентом. Уже в этом чувствовалось некое бессовестное надувательство.

Столь замысловатый сухопутный маршрут — из Петербурга поездом до Кубани, оттуда автобусом до Севастополя — был выбран не в угоду застарелой аэрофобии отца семейства, а просто потому, что все авиарейсы на полуостров были отменены. Узнав об этом, Горбылёв тихо обрадовался — у него появилась тайная надежда, что они никуда не поедут... Не в том дело, что он был тяжёл на подъём и с великим душевным трудом претерпевал нервотрёпку дорожных сборов, а в том, что он был невротик — это говорила ему мать, говорила жена, об этом же свидетельствовал справочник по психическим заболеваниям, который, кроме всего прочего, определял Горбылёва как *тревожно-мнительный тип личности*. При виде строительного крана он всякий раз начинал озираться по сторонам, прокладывая возможные маршруты спасения на тот случай, если однорукий великан станет падать в его сторону. Лифтом Горбылёв старался не пользоваться, а если без этого было не обойтись, то ощупывал ногой пол и только потом входил. Но хуже всего было с детьми: выводя своих чад прогуляться на площадку, иной раз он испытывал такое смятение, что всерьёз думал — а не повернуть ли обратно. Воображение с садистической ухмылкой показывало ему то летящую с карниза сосульку размером с бивень мамонта, то несущийся мусоровоз с пьяным гонщиком за рулём, то притаившегося за углом маньяка.

— Перестань, — говорила Вера. — Это невыносимо. Разве можно так жить?

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Печатается как поэт, прозаик и критик в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 7.

Можно ли так жить? Он жил — и не помнил уже, сколько лет. Но когда появились дети, это действительно стало невыносимо.

— Таким, как ты, нельзя заводить детей. Ты чудовищный невротик! Борись с этим, иначе сойдёшь с ума. Иначе мы все сойдём. Борись!

Он боролся, и не без успеха, — согласился же везти детей в такое время вдоль границы, из-за которой может прилететь что угодно. Согласился же ехать всем семейством на полуостров, где сам бог велел что-нибудь взорвать. Тем более по Крымскому мосту! Нет, он всё-таки попытался протолкнуть идею провести отпуск где-нибудь в другом месте — например, на Валдае, — но ему быстро напомнили, что его святая родительская обязанность — каждое лето вывозить детей на море. К тому же в Севастополе — родственники, которые давно зовут в гости.

Больше суток они прожили в поезде. Под стук колёс Горбылёв немного успокоился. Он любил поезда дальнего следования — с детства, когда святая родительская обязанность столь же неукоснительно соблюдалась в отношении него, каждое лето возимого в Одессу, тоже к родне. С тех пор многое изменилось — например, Одесса стала прифронтовым городом. А для родни он умер.

Нет, «умер» — слово не вполне точное, думал Горбылёв. Об умершем хотя бы скорбят, ретроспективно его могут любить. А если и не могут, то дефицит светлой памяти возмещается тем, что усопший об этом ничего не знает. Он сам никого не помнит и никого не любит и поэтому не страдает. Он счастлив, ибо не может осознать себя несуществующим. Но странное это чувство — когда несуществующим осознаёшь себя для живых, которых и помнишь, и любишь. Он размышлял об этом, глядя в вагонное окно на бесконечные, уходящие за горизонт подсолнуховые поля. Сотни тысяч ослепительно-жёлтых солнц горели и готовились погаснуть навсегда. «Навсегда» — вот слово, более всего тревожившее Горбылёва в те дни. Оно незаметно перетекало, превращалось в каменное, остроугольное «никогда», убивавшее всё живое: тёплые, как июльский вечер, воспоминания детства, мысли о прожитой и непрожитой жизни, навязчивые надежды на возвращение — нет, не безмятежности, а ощущения хрупкого равновесия с миром, — ощущения, которое сохранялось даже при всей его *тревожности* и *мнительности*, а теперь вот исчезнувшее — по-видимому — *навсегда*.

В Краснодар Горбылёвы приехали утром, в Севастополь должны были отбыть поздно вечером. Таким образом, в их распоряжении был весь день. Они не без удовольствия погуляли по городу, когда-то называвшемуся Екатеринодаром, покатались на прогулочном кораблике по неожиданно широкой (почти как Нева!) зеленоватой Кубани. А вечером их ждал «комфортабельный рейсовый автобус», который по замыслу Веры должен был к утру следующего дня доставить семейство в Севастополь. На сайте, где заказали билеты, можно было полюбоваться на это белое чудо. О, это был не автобус! Это был лайнер на колёсах! Вера всё продумала: отоспятся в дороге, в креслах с белоснежными чехлами, а утром — свежие и полные сил...

В назначенное время в условленном месте — на площади, возле памятника Ленину — не было не только автобуса — не было и потенциальных его пассажиров. Никто под Ильичом не томился в ожидании, если не считать двух тихих пьяниц, которые ничего не ждали и никуда не торопились. Вера схватилась одной рукой за сердце, другой — за телефон. На звонки никто не отвечал.

— Они должны позвонить... Если пассажир не прибыл, они должны выяснить...

К счастью, эта пытка длилась недолго. Телефон зазвонил, мужской голос с лёгким акцентом раздражённо поинтересовался их местонахождением. И был весьма удивлён, что они стоят под Лениным и не садятся в автобус. Ещё раз оглядевшись, супруги Горбылёвы снова не обнаружили поблизости никакого автобуса. К ним приближался поджарый бритый наголо человек в чёрной футболке. Горбылёв машинально сжал обе ручки — чемодана и младшей дочери.

— Тут написано, автобус... — бормотала Вера, протягивая человеку распечатку. — Автобуса нет.

— Как это нет! А это что?

Невдалеке под кустом стоял, сливаясь с собственной тенью, тёмно-синий минивэн. Даже в разбавленных городскими огнями сумерках было видно, как он стар и потаскан. На задних сиденьях томились в тесном соседстве те, кто в отличие от Горбылёвых, не питал иллюзий и сразу забился внутрь — на лучшие места. Разумеется, ни о каких номерных местах, указанных в билетах, не могло быть и речи — после утрамбовки дорожного скарба в тесном багажнике ничего не осталось, как занять единственное свободное пространство. Горбылёв расположился на переднем сиденье — рядом с водительским местом. Поиски ремня безопасности результатов не дали. Попытки откинуть вертикальную спинку кресла назад — тоже. О сне можно было и не мечтать. Икнув и вздрогнув, задрезжал ветхий мотор, старик фольксваген дёрнулся и покатил в ночь.

Поистине, главное предназначение этого транспортного средства заключалось в том, чтобы истязать заключённых в нём людей, по недоразумению именуемых пассажирами. Самодвижущаяся камера пыток — вот что это было такое. Истязания полагались разнообразные. Но ни теснота, ни духота, ни тряска, ни запах бензина не шли ни в какое сравнение с пыткой магнитофоном. Всю ночь слух Горбылёва терзали голоса, рычавшие про тюрьму, про братву, про больных матерей-старушек, ждущих своих заблудших сыновей, а потом потекло что-то восточное — тягучее, нудное, как зубная боль... На чей-то робкий вопрос, нельзя ли выключить или хотя бы приглушить музыку, водитель, не отрывая взгляда от дороги, процедил:

— Нельзя. Могу заснуть...

Наверное, мог — Горбылёв и сам несколько раз спохватывался, сползая куда-то вбок. Жене было не легче — всю дорогу она ловила падавших на пол полусонных девочек: Анатолий безбожно гнал и резко притормаживал на поворотах. И зачем было так торопиться, — вместо запланированных шести часов утра они приехали в четыре и ещё часа два куковали на автовокзале.

А когда спустя две недели своего короткого отпуска Горбылёв, оставив жену и детей на попечение севастопольского дяди, отправился тем же маршрутом назад, ему не так уж важно было, как и на чём добираться до Краснодара. Электронный билет снова обещал путешествие на большом рейсовом автобусе, но в реальность такого путешествия уже не верилось. Впрочем, ничего подобного колымаге под управлением полувосточного человека Анатолия Горбылёв уже не ждал — ведь такое бывает только раз в жизни, подобные приключения не повторяются.

Но почему же не испытал он ни малейшего удивления, когда перед ним снова предстал этот юркий маленький человек неопределённой национальности, о котором всё это время он старался не вспоминать? Наверное, потому, что где-то в мутно-зелёной, как воды Кубани, глубине сознания понимал: иначе просто не могло быть. Анатолий обязательно должен был вернуться, хотя бы для того, чтобы реабилитироваться в глазах Горбылёва, не остаться в его памяти малоприятным типом

на малопригодной для езды машине. И — чтобы кое-что ему рассказать. Это *кое-что*, это пустяковейшее, в сущности, *кое-что*, на которое другой не обратил бы никакого внимания, будет долго жить в Горбылёве, разрастаясь и постепенно вытесняя все остальные воспоминания о той поездке: о горячем, как печь, Малаховом кургане, о похожем на холст сюрреалиста Херсонесе, о грандиозном, спрятанном внутри горы лабиринте в Балаклаве, о пляже Фиолент с раскалённой галькой, с изнурительным спуском и ещё более изнурительным подъёмом в тысячу ступеней, о скале, увенчанной крестом, о вечном, помнящем Одиссея море... Но тогда он этого ещё не понимал, тогда ему хотелось хоть немного отыграться за ту забываемую ночь в камере пыток.

— Какое совпадение! Снова с вами...

Нет, Анатолий его не узнал, и его чахлую иронию оценил едва ли. Тонем вполне дружелюбным, но не терпящим возражений, он определил Горбылёва на то же самое место — переднее, рядом с водительским сиденьем. Тот и не думал возражать — днём это было лучшее место. Разумеется — не с точки зрения безопасности: пристегнуться по-прежнему было нечем. Однако Горбылёву совсем не улыбалось тесниться сзади рядом с немолодыми женщинами, не расстававшимися со своими котулями. Водитель как будто прочитал эту мысль в глазах Горбылёва и панибратски хлопнул по плечу.

Дневной Анатолий отличался от ночного, как, собственно, день от ночи. Его угрюмая молчаливость сменилась весёлой словоохотливостью, чёрная футболка — голубой рубашкой с коротким рукавом. Горбылёв даже подумал о брате-близнеце или о раздвоении личности. Он смотрел на загорелый череп водителя, пытаясь понять, почему эта лотерея дважды выбросила один и тот же номер. Впрочем, никакой лотереи, как оказалось, не было.

— Сколько автобусов в вашей фирме? — поинтересовался Горбылёв.

— Один, — ответил Анатолий, немного подумав.

— Стало быть, вы и директор?

Анатолий выплюнул окурок и сел за руль.

— Можно сказать, да.

Сказав это, он не без гордости взглянул на собеседника и повернул ключ. То, что должно было при этом произойти, не произошло — машина не завелась. Анатолий попробовал ещё раз — с тем же результатом. Попытки повторялись многократно, причём, судя по яростному оскалу, по гармошке на лбу и вздутым венам на шее, водитель пытался передать автомобилю всю свою психофизическую энергию. Убедившись в бесполезности этих усилий, он нырнул под руль, долго колдовал с проводами, несколько раз просил Горбылёва повернуть ключ в замке. Делая это, тот чувствовал, что машина совершенно мертва — ни кряхтения, ни вздрагивания, ни единой вспыхнувшей лампочки на панели приборов.

Выругавшись, Анатолий выпрыгнул из машины и поднял крышку капота. Но и после этого старый немец не ожил. Возможно, был разряжен аккумулятор — это вскоре подтвердил сам Анатолий, хлопнувший себя по кокосовой острой макушке и без тени смущения заявивший, что накануне вечером забыл выключить фары.

После этого он исчез.

Поезд Горбылёва был в два часа ночи, и он не особенно беспокоился — в крайнем случае, до Краснодара как-нибудь доберётся. Однако прочие пассажиры пребывали в тихой панике. И почему-то именно к нему полезли с вопросами — видимо, на том основании, что он сидел рядом с водителем и о чём-то с ним говорил. Скорее всего, Анатолия понесло на поиски нового аккумулятора: рядом был рынок автотоваров —

Анна Лужбина

Клубничные пузыри

Рассказы

«Маленькая страна»

Варя грела ноги у батареи, в задумчивости посасывая косу. На стене висел чей-то портрет, рядом — круглые часы с ажурными стрелками. Всё привычно: и пустая квартира, и батарея, и заснеженный притихший Талнах за окном.

Стрелки докрутились до трёх, значит, надо идти на сольфеджио. Варя одевалась долго: колготки до подмышек, рейтузы до пупка, шерстяные гольфы до колен. Больше всего мёрзнут ноги, потом уже живот, а последней мёрзнет голова.

На улице — чёрно-белая фотография: лавочку совсем засыпало снегом, пунктирный забор, худые деревья. На дереве проорал ворон, но Варя не смогла поднять голову: слишком туго замотан шарф. У гаражей мальчики лепили снежную бабу с сиськами, кинули в Варю снежком, но мимо. У одного из мальчиков свалилась шапка, волосы под шапкой мокрые, взъерошенные, а уши красные.

В Талнахе все ходят то вверх, то вниз, никогда не ходят ровно. Ровно ходят в Норильске — он тут рядом. Если в пятом микрорайоне подняться по Чёрной тропе, при ясной погоде видно Норильск. Там дороги прямые, широкие, а в Талнахе — холмы, горки, дырки.

Варя шла аккуратно и медленно, как учил её кто-то. Потом вспомнила, что в кармане у неё леденец, и остановилась. Расковыряла зубами фантик, закинула леденец в рот. За спиной загудела машина: круглоглазые «Жигули» ползли через снег.

«Жигули» остановились рядом, медленно опустилось окно. На пассажирском сиденье — красивая тётя в чёрных прямоугольных очках. На Варю дунуло бензином и клубничной жвачкой.

— Подвезти тебя? — спросила тётя и сняла очки.

Глаза добрые, с голубыми тенями, а бровей нет — только тонкие веточки. Тётя была похожа на певицу Наташу Королёву.

Лужбина Анна Андреевна родилась в Москве в 1991 году. Окончила философский факультет РГГУ. Лауреат литературного конкурса «Русский Гофман». Проза печаталась в «Дружбе народов», «Новом мире», «Знамени». Участница итоговой мастерской АСПИР в 2022 году.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 9.

Варя сделала шаг в сторону, в сугроб, чтобы посмотреть на водителя. За рулём сидел дядя с большими усами, большим носом, большими ушами, без шапки.

— Согреешься хоть! — продолжала тётя, доставая из сумочки бутерброд с колбасой. — Хочешь?

Талнахцы режут колбасу тоньше, хлеб — толще. Варя подошла к задней дверце, открыла её и села внутрь.

— Мне на Горняков остановите, — сказала Варя низким голосом, как в маршрутке. — У музыкалки. Пожалуйста, спасибо.

Варя укусила бутерброд, и во рту всё смешалось: и колбаса, и хлеб, и леденец.

— Позже там остановимся, а пока к нам едем, — ответила тётя и включила рекламу на радио очень громко.

— Нет, мне надо, пожалуйста, сразу на Горняков, или я выйду.

Слова затерялись в песне про стоматологию, «Жигули» заревели от скорости. Разогнавшись, взлетели на какой-то кочке, и дядя выругался матом. Папа водит куда аккуратнее, хотя Варю давно никуда не возили.

Они выехали из посёлка по Строителей, переехали речку Талнашку. Варя думала открыть дверь, вывалиться из машины и куда-нибудь кубарем укатиться. Или, может, она что-то путает, не так услышала, неправильно поняла?

— Будешь плохо себя вести — заставим из Талнашки воду пить! — Дядя переорал радио и крепче вцепился в руль. Тётя посмотрела строго, сдвинув брови-веточки, а потом стукнула дядю по колену, но как-то не по-настоящему.

Все дети в Талнахе знали историю про девочку Галю. Её украли, убили, тело нашли по весне в почерневшем сугробе в лесу. Говорят, Галя ходит привидением по лесу, как *неприкаянная*. Варя это слово не понимала, но ей казалось, что это что-то о ледяном, как у Кая, сердце.

Про Галю рассказывали детям, чтобы те не шлялись по задворкам, не разговаривали с незнакомыми, не пили, не курили, не барагозили. Но от *неприкаянности* было страшно, а от тёти в машине — наоборот. Даже дядя был не очень страшный, хоть и ругался матом на дорогу, деревья и мусор. Тётя дула клубничные пузыри, улыбалась в зеркальце, подпевала радио. Варя слушала её голос, он едва пробивался сквозь песню, как писк недолетевшего комара. Тот самый голос, очень знакомый Варе по любимой волшебной песне.

Когда остановились, снег кончился. Впереди высилась каменная стена-гора, а над ней небо — разбавленные чернила. Тётя вышла из машины, и Варя сразу же вышла за ней. Размотала шарф, посмотрела вверх. В небе был виден след от самолёта. Потом посмотрела на тётю: каблуки, короткая кожаная юбка, колготки в широкую сетку. В Талнахе зимой так красиво никто не ходит.

— Вы — Наташа Королёва? — Варя больно закусила губу, до крови.

Дядя громко засмеялся, а потом вместо смеха почему-то даже закричал, и тётя опять его стукнула, теперь по шее. А Варе она улыбнулась, подошла поближе и наклонилась прямо к лицу. От тёти пахло клубникой и нескафе (Варе нельзя).

— Ну ты спалила. Можешь меня называть тётей Наташей. А его — дядей Тарзаном. Тебя ведь Варя зовут? Телефон твой — это вот?

Тётя показала бумажку с Вариним телефоном и адресом. Ногти у тёти были все разные: то длинные, то короткие. Все мамы в Талнахе ногти стригут так, чтобы не было видно белого. И себе стригут, и детям, и мужьям.

— Откуда вы знаете?

— Знаем. И родители твои скоро узнают.

— А что вы скажете?

— Что хотим за тебя немного денег, ну?

Зашли в какой-то косою зелёный дом. Там было тепло, пахло дровами и сеном — так у Вариного деда пахнет тулуп. Варя сняла шубу, повесила её на гвоздик и забралась на горячую настоящую печь, закрытую одеялами и чьей-то шкурой в дырочках. В голове роились вопросы, Варя отгоняла их, как мух, а они возвращались снова. Сколько за неё попросят денег? Случайно так получилось или специально? А что если денег нет?

В комнату зашла тётя Наташа, сняла сапоги, в сапогах были некрасивые серые носки. Она подошла к печке, танцую руками, а ещё смеялась, прицокивая языком. В Талнахе так делают только пьяницы, а ещё так делала в кино кавказская пленница Нина. Варя ёрзала на печке, чесалась: ей захотелось тоже поцокать и потанцевать, но она стеснялась.

— Тебе телик включить? — спросила тётя Наташа, прислоняясь к печи сначала животом, а потом ладонями. На запястье под золотой тонюсенькой цепочкой виднелся белый бугристый шрам.

— А может, вы мне лучше споёте? «Маленькую страну». Хотя бы припев.

В голове заговорил чей-то голос: видимо, от жары и такого внимания стало казаться, что всё теперь можно. Раз тётя Наташа танцует и улыбается, почему бы ещё и не спеть?

— Попозже спою! — шепнула тётя Наташа и сунула Варю в руку пульт в плёнке. — Сиди пока.

— Кристин, подойдёшь? — дядя Тарзан затопал у входа ногами.

Варя осталась одна, с телевизором. На печке так горячо, что пришлось снять рейтузы и даже шерстяные гольфы. Варя подумала, что если жить с такой печкой в доме, то холод на улице не страшен, потому что даже в животе жарко.

По телевизору шла ерунда, Варя смотрела в него просто так, как дома в чей-то портрет. Вроде бы все хохотали, но Варя не понимала ни слова. В комнату вернулась тётя Наташа, она села на пол и стала красить ногти на ногах в красный. Иногда она поднимала голову, смотрела в телевизор и улыбалась. Варя думала медленно, плавясь от жара: зачем красить ногти на ногах, если там всегда колготки, шерстяной носок, сапоги или домашние тапочки? Тётя Наташа предложила накрасить ногти и Варю тоже, но Варя вежливо отказалась и ещё раз попросила спеть.

Хохотать закончили, начались новости, и тётя Наташа говорила Варю, как хотела бы жить в Талнахе. В Норильске дым клубится вместо облаков, заводы, трубы, а в Талнахе воздух, и лес с водопадами, и грибы, и ягоды, и зайцы с кабанами, и медведи, и звёзды.

Снова затопали ноги дяди Тарзана, он громко распахнул дверь в комнату. Он пришёл, как приходят домой: поставил на пол пакеты с какими-то продуктами, и если бы Варю не было так жарко, она бы кинулась в этих пакетах ковыряться.

Вечер тянулся приятно. Они втроём смотрели новости, ели хлеб и сырые сосиски с кетчупом, а потом шоколадные вафли. Варя съела четыре сосиски и почти всю упаковку вафель. Стало сонно: от печного жара, мягкого света и сытости. От какой-то приятной усталости, как после театра или в Новый год. Тётя Наташа сидела у дяди Тарзана на коленях, как красивая птичка. Дядя дал ей какие-то деньги, и тётя Наташа спрятала их в лифчик, а потом не застегнула блузку, так и ходила. По телевизору начался неинтересный мультфильм.

— А если за меня не заплатят? — спросила Варю.

Луна светила в комнату кругло и жёлто, как настоящий фонарь, и будто подглядывала, чтобы потом всё разболтать, выдать секрет. Хотя Варя просто спросила, она не хотела говорить чего-то плохого.

— Ни разу ещё не было, чтобы талнахцы да не заплатили, — сказала тётя Наташа.

— Ты уж зла не таи, не таи зла... — забормотал дядя Тарзан, свесив пьяную большеухую голову.

— Мама работает, а потом идёт в сад за Колюней, — заныла Варя. — А у папы новая жена. Ему сюда долго ехать.

— Мы подождём. И много не попросим.

— За Колюню дали бы больше. Могут сказать, в какой он ходит сад.

Варя снова легла на печь, и тётя Наташа накрыла её одеялом. Было жарко, как никогда не было: дальше некуда, только обжигаться. Потом на печку залезла тётя Наташа, она была такая же маленькая, как Варя, но горячее, а ещё можно было почувствовать её голую кожу. Тётя Наташа запела тихонечко и почему-то очень фальшиво.

— «Есть за горами, за лесами маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна...»

Где-то внизу храпел дядя Тарзан, а по телевизору начались взрослые передачи.

— «...Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она?» Я дальше плохо помню. Всегда пою под магнитофон, понимаешь?

Варя понимала. Они лежали какое-то время вместе, а дядя Тарзан внизу как-то особенно громко всхрапнул и выключил телевизор.

А потом, уже будто под утро, в какой-то рыжеватой черноте Варю разбудили, надели на неё шубу и посадили опять в «Жигули». Они приехали на снежный пустырь у чёрного леса, Варя вышла из машины пошатываясь. Напротив стояла мама: маленькая, в затёртой дублёнке, лица почти не было видно. Чуть дальше стоял дед с Колюней. Одной рукой он держал Колюню, а другой — топор. Варе вдруг стало стыдно за всё, что произошло: и за танцы, и за неприличную радость, и за то, что сдала брата.

Мама прижимала к груди пакетик, открыла его, внутри были деньги. Варя подумала с какой-то сонной неловкой гордостью, что её семья — талнахцы, что они всегда платят за своих детей. Тётя Наташа мягко ткнула Варю в спину, чтобы та шла вперёд, и после этого толчка кольнуло морозом ноги. Дед поднял топор повыше, и кто-то заплакал. Варя подумала, что это она плачет, или тётя Наташа плачет, или Колюня, а может, кто-то из леса, но до конца было неясно.

За спиной заревели «Жигули», и Варя остановилась, не оборачиваясь. В её голове играла «Маленькая страна». Какая же приставучая песня, какая же приставучая...

Мапа Рома

Разные люди говорили Роме, что он — мапа. Он и сам ощущал себя мапой. Сын называл его папой, но подразумевал как будто бы тоже мапу.

— Ты — мапа, — говорила бабушка, и «п» у нее получалась удвоенная, спотыкающаяся. — Ира уйдёт, а ты останешься, ещё будешь должен.

С бабушкой разговор строился так: она говорила что-то отвратительное, Рома спорил. Потом она оказывалась права, но из сочувствия делала вид, что не предупреждала.

Ира ушла, но в последнее время у неё было так много работы и командировок, что вернее сказать — не вернулась. После развода договорились, что папа и мама равны, а детский сад уже рядом с папой. У мамы поэтому с Егоркой будут выходные (все — кроме первых в месяце), а у папы будни.

— А у мамы — вся неделя целиком, — бабушка набрала дыхания, но зависла на экране телефона из-за неустойчивого интернета.

— Мам, ты зависла.

Раз, два, три...

— ...Зелёные обезьяны, — договорила бабушка, и Рома кивнул. Может, он что-то неправильно расслышал, но это было неважно.

Поварская смена начиналась в восемь, Рома отводил Егорку в сад к семи. Людей в это время мало, и все ходят чуть согнувшись, будто в страхе, что из неба что-нибудь кинут. Егорка шаркал тяжёлыми ботинками, Рома тащил его за руку, в лицо летел колючий снег, морозило щёки, и если посмотреть на часы, — всегда было время опоздания.

Бабушка помогала понемногу, раз в неделю, иногда чаще: погулять, забрать пораньше из сада, приобнять нежно у телевизора. Рома весь день проводил в ресторане, в горячем цеху. Ему нравилось готовить, ещё раз — нравилось, ну правда нравилось, но он не понимал, почему за смену он получает столько же, сколько в меню стоит среднее блюдо без мяса.

Зато спал теперь Рома так крепко, как никогда до развода: засыпал прямо в детской кровати, во время укладывания, а иногда даже во время чтения ежевечерней книжки. Егорка сначала будил его, аккуратно стучал по лбу или по носу, а потом просто засыпал рядом, закинув на папу лёгкие ноги. Ночью Рома просыпался от немоты в теле и шёл к себе на диван, хотя спать на диване оставалось уже совсем недолго.

А наутро опять волочился февраль, месяц-старость, и нужно было куда-то идти, потому что каждый день — это будни, вечная середина недели. Собирать поварскую форму и детсадовское, одеваться, одеваться, одеваться: в три слоя одежды, а ещё сверху шапка на тесных пуговицах и плюшевый воротник, обсосанный у лица.

Егорку в сад Рома чаще всего приводил первым: охранник включал свет, потягиваясь и щурясь, как гигантский малыш. Потом появлялась какая-то рыжая мама с мальчиком из другой группы: мальчик ревел, Егорка сразу же начинал кривить губы, и Роме тоже хотелось реветь.

— Ты разденешься сам? — Он смотрел на часы. — Я пойду, опаздываю на работу.

Егорка отвечал что-то беззвучное, неразборчивое, как Ира во время долгих разговоров перед разводом, и в тёмном коридоре проносилась тень только что пришедшей на работу воспитательницы.

Рома убегал на автобус, и отпускало только ближе к метро, когда можно было погрузиться в новости, в картинки и мемы, в фотографии чужих людей. Пассажиры перекатывались с ноги на ногу у эскалатора, было жарко и липко, пересадка, пересадка, Рома всегда уступал место какой-нибудь грустной женщине в тёмно-синем, подъём — снова в холод. Потом работа на ногах, резать, резать, стругать, жарить, парить, перекур — и снова.

— Уж лучше с тобой, чем с его биологическим отцом, — говорила Ира. — Уж лучше с тобой, чем со мной, потому что я не справлюсь, а ты — справишься, он любит тебя больше всех, а с тем патлатым чмом вообще не знаком.

«Так папа я или не папа?» — Рома набирал сообщение, а потом стирал.

Посветлевшее утро 8 марта: Егорка в костюме гнома с самым маленьким стишком на всю группу, всего две строчки. Рома ёрзал на жёстком стуле и ворочал внутри себя что-то матерное: о пришедших родителях, о непришедшей Ире, о тех, у кого хотя бы три строчки, а не две, а то и целый стишок или, может быть, даже песня.

Бабушка сидела рядом, застыв с поднятой рукой, чтобы снять всё на видео. Рома подносил рукав ко рту, потому что хотелось что-нибудь укусить. Рукав пропах фритюрницей, прогорклым маслом, как будто работал Рома не в ресторане высокой кухни, а закручивал шаурму в подворотне.

К окончанию утренника все вместе пели песню про маму, а самые высокие мальчики (Егорка им, кажется, по пояс) подарили воспитательницам вялые тюльпаны.

— Ребёнку нужно есть фрукты, а то заболит, — говорила бабушка, когда они возвращались после утренника, она — домой, Рома — в горячий цех. — А то лицо у него как гномий колпак, зелёное, весь день ведь проводит в саду...

— Да не заболит.

— А ещё надо вызвать сантехника. Под ванной у вас вечная лужа.

Рома раздражённо втянул носом воздух и пнул ледышку.

— Я видел, на выходных посмотрю, сейчас некогда.

Когда Егорка заболел, — Рома впервые за пятнадцать рабочих лет взял больничный, потому что тоже чувствовал себя больным, хоть и не температурил. На кухне отпрашиваться не принято, нужно приходиться любым, потому что иначе все зашиваются. Но Рома всё-таки отпросился: накормил Егорку детским нурофеном и виноградом, почитал книжку, уложил на дневной сон. Егорка заснул быстро, выпятив остренький, чужой подбородок, доставшийся, видимо, от настоящего папы.

Рома заснул рядом, но проснулся через час оттого, что бледное мартовское солнце нагрело ему правую щёку. Дома ощущалась весна: на подоконнике расцвёл старый кактус, снаружи курлыкал голубь, а ещё что-то капало. Ира предложила помочь, если у Ромы запара, и в этом тоже было что-то весеннее, оттаявшее.

— Ты — хороший человек, — говорила Ира по видео, нервно отковыривая лак с ногтей. — Если бы не ты — мы бы все уже умерли, человечество бы вымерло, понимаешь?

К вечеру приехала бабушка и приготовила что-то такое, что Рома ел у неё последний раз в детстве: макароны по-флотски, а не болоньезе, компот с мягкими розовыми вишнями на дне стакана. Эта простая еда как будто возвращала силы, и потом они втроем читали Жюль Верна, и страницы книги были жёлтыми, хрупкими, как листья. Между таких страниц всегда можно что-нибудь найти: засушенный цветок клевера или лепесток розы. Читая, Рома вспоминал, как впервые увидел свёрток в коляске, плоское лицо в полосатой шапочке. Ира шутила: это Джабба Хат, только маленький, а ты ему теперь как отец, а точнее — без «как».

Когда спала температура, Рома с Егоркой пошли гулять в ближайший лесопарк. Выйдя из дома, сразу же нашли островок сухого асфальта и вернулись, чтобы взять мелки и скейтборд. Стоявшая у подъезда «Волга» показала удивлённый стеклянный глаз: её почти никогда не чистили, поэтому по ней можно было отслеживать времена года.

Они прошли через лес, и в особенных местах здесь проклёвывались какие-то весенние нежные цветочки, которые хотелось назвать подснежниками. Рома открыл рот и подержал его какое-то время открытым, просто так.

— Я тебя люблю, — мало какие слова вызывали у него больший ужас и неудобство.

— И я тебя, — Егорка снова присосался к плюшевому воротнику, а после наклонился, чтобы понюхать цветок. — Пахнет ватрушкой.

Потом они дошли до того места, где в клетках у конюшни сидели красноглазые кролики, попробовали погладить их мягкие длинные уши, вытащить недоеденную морковь и ею же накормить кроликов снова. Уже по дороге домой за ними увязались чёрные бродячие собаки, за Ромой часто увязывались, ходили иногда целой стаей и оставались караулить у подъезда.

— У таких, как ты, все на шее сидят: и звери, и люди, — объясняла бабушка. — Но это от хорошего воспитания...

Вечером после ужина Рома открыл окно и прислушался: на тёмной детской площадке кто-то скрипел качелями, а у магазина пели песню. Кактус на подоконнике скинул цветок, но, кажется, готовил ещё один. Телефон, оставленный на кухонном столе, загорался снова и снова.

«Я уезжаю, — писала Ира. — Может быть, надолго: полгода, год. Что ты мне скажешь?»

За окном продолжали скрипеть невидимые качели: туда-сюда-туда-сюда. Рома пожал плечами, глядя на пустую стену, налил воды, выпил залпом. Вроде бы всё равно.

«Ок», — отправил он сообщение.

На следующий день вернулись тёмное утро, вязкий недосып, мелкий снег под жёлтым фонарём. Вставали сложно, долго и снова позже, чем нужно: Рома суетно помог Егорке одеться и занялся завтраком. Яйца растекались по сковородке, босые ноги приклеивались к полу, неожиданно закончились и хлеб, и масло, и колбаса. Пожарив простую яичницу, Рома позвал Егорку, но тот не отвечал. Он заглянул в детскую: Егорка, снова одетый в пижаму, лежал под одеялом, укрывшись с головой.

— Я буду всегда болеть, чтобы не ходить в сад, — сказал Егорка.

— Вставай.

— Не встану.

— Вставай!

— Не встану.

Рома подошёл и сдёрнул одеяло, но Егорка юркнул под кровать, выскочил с другой стороны и побежал в коридор. Рома кинул одеяло в сторону, сразу же посыпались какие-то игрушки, покатались шарики, загремело лего. Рома рванул, ударившись рукой о дверной косяк, но Егорка прыгнул в ванную комнату и закрылся изнутри на замок.

Рома дёргал за ручку, потом заколотил кулаком в дверь: раз — колокольчиками звякнули дверные петли, два — до хруста то ли в двери, то ли в запястье, хотел стукнуть третий — но замер, дыша с простудным хрипом, чувствуя, как смягчают ноги.

— Сегодня дома со мной, завтра с бабушкой, — он сполз на пол, и тело было как набитый камнями мешок. — После выходных — в сад.

Щёлкнул замок, открылась дверь: Егорка вышел с задумчивым и взрослым лбом, сухими щеками. Рома смотрел на него удивлённо: никогда ещё он не рассматривал сына с такого ракурса, снизу вверх.

— Там под ванной лужа и что-то текёт, — сказал Егорка.

Он держал руки в карманах с оттопыренными большими пальцами точно так же, как их держал бы Рома.

— А ещё у тебя там кровь на руке.

Кто-то постучал. Рома с трудом встал и подошёл к двери, посмотрел в глазок.

В коридоре стояла соседка этажом ниже. Рома спрятал руку за спину, открыл дверь: у соседки была какая-то особенная, непривычная красота, родинка-муха и внимательный взгляд.

— Вы меня затапливаете, — сказала она. — Идёмте, я покажу вам.

Разлука с грибницей

Мария протёрла очки и надела их снова. Над трёхэтажками — тревожное небо, вдалеке — синие горы, по бокам — лес торчком. Беременная соседка развешивала во дворе белые простыни, вокруг неё бегал чёрный плешивый пёс. Крохотная мать Марии сидела на лавочке, глядя на вспоротый травую асфальт.

Мария зашла в подъезд с косой дверью: внутри пахло то ли рыбой, то ли луком, в подбитое камнем окно сквозило со слабым свистом. Камень лежал рядом. Туфли Марии царапали ступеньки, потому что набойки сточились до гвоздиков.

Мария скрипнула дверью квартиры, сняла туфли и дальше пошла босиком. Дома на столе — маленький ноутбук: крылатые сердца летали по экрану, лопались пузырями. Мария села на табуретку, убрала очки и накрашила губы.

— Расскажите о себе. — На экране появилась женщина в городском бежевом костюме. В маленьком окошке справа расплывчатая Мария: бледное лицо, узкие плечи, на заднем плане бесцветные обои.

— Меня зовут Мария.

На улице зашумел дождь. Женщина молча смотрела на Марию, а Мария ждала нового вопроса, потому что ей нечего было рассказать. От отсутствия вопроса она стала искать в голове собственные слова, но там сидели только неподходящие истории. О змее-медянке, они с дедом видели такую в начале недели. О том, как они пытались починить туфли Марии и сделали набойки из старой шины. Набойки продержались день и совсем не цокали, уж лучше голые гвозди.

— Ещё что-то? — Женщина посмотрела в сторону.

Мария улыбнулась наверху, а внизу вжала ногти в колени. Если бы это был не видеозвонок, то всю одежду можно было бы снять и вывернуть наизнанку и вывернутой надеть снова. Так приходят новые решения.

— Я закончила школу. Может быть, хочу уехать в большой город и дальше учиться, если бы появились деньги.

— Вы ждёте этого от спонсора?

— Чего?

— Образования.

— Может быть, я не знаю.

— Почему вы хотите работать у нас?

— Мне кажется, что у меня получится. Из нашего города многие работают так.

— Как?

— В эскорте.

— А что за город?

Женщина заглянула в какие-то бумаги.

— Грибница, — сказала Мария.

— Извините?

— Такое название, это... ну...

Мария не знала, как объяснить то место, в котором она живёт, потому что название ближайшей железнодорожной станции чаще всего тоже не знали.

— Ладно. Главное, чтобы наш округ, мы с другими округами не работаем. Есть ли у вас качества лидера?

— Есть.

— Умеете ли вы работать в режиме многозадачности?

Мария не знала, что такое многозадачность, но в объявлении о наборе девушек было написано о высоком интеллекте и обширных знаниях.

— Умею.

— Языки?

— Есть.

— Какие?

— Русский.

— Кем вы видите себя через пять-десять лет?

Мария закрыла глаза и увидела, но не себя, а мужчину из недавнего сна. Лицо его было неясно, будто рисунок не досушили и размазали пальцем. И голос, который звал: Машуля, Машенька, а потом почему-то Машрутизатор, Машрукция...

— Мария?

— Может, спонсор нашёл бы для меня какое-нибудь дело, но мне сейчас сложно сказать. Салон красоты, например, или картинная галерея.

Женщина кивнула с маленьким скользким смешком, который мог показаться икотой.

— А что лучше: салон или картинная галерея? — спросила она.

Мария занервничала ещё больше, потому что всегда нервничала, когда нужно было выбирать.

— Я бы взяла и то и другое.

Молчание.

— Мне бы хотелось работать ночью, потому что ночью я себе больше нравлюсь, — добавила Мария зачем-то.

— А что меняется ночью?

— То, что днём кажется ерундой, ночью кажется важным.

Женщина посмотрела на Марию с жалостью.

— Ладно, по делу. У нас в Барыше...

— Где? Извините.

— На станции Барыш есть клубничное поле, на нём мы проводим встречи.

— В грядках?

— Ну, для многих это экзотика, а знакомым можно сказать, что едешь собирать ягоды. — Женщина снова икнула. — На станции тебя встретят с табличкой «Клубника». Скинь мне место и паспорт свой, чтобы секретарь оформил документ, у тебя ведь есть паспорт?

Мария родилась два раза. Первый раз — ночью. Но её настоящая мать умерла родами. Повитуха сказала, что пути разминулись: одна женщина пришла, другая ушла.

Ещё раз — следующим днём, когда дату рождения Марии записали в бумаги. В этот день её взяла к себе вторая мать, согласившаяся воспитывать Марию как свою настоящую дочь Аришку.

— Так девочка будет счастливее, — решили на семейном совете, состоявшем из деда, новой матери и ближайшего соседа. — Выберет потом сама, какой день рождения праздновать.

В Грибнице, если идти вверх, — будут горы; если вниз, — болота. Самая крупная гора была похожа на спящего медведя, и местные говорили так: «за ногами медведя», «за животом», «за ушами», — чтобы как-то ориентироваться на своей земле. Грибов здесь и правда было много, особенно лезли грузди и паутинники. Позже, к осени, ходили с козами и собаками, выкапывая из-под древесных корней камень-гриб. Томили с картошкой в горшочках и ели даже на завтрак.

Соседи Марии собирали грибы и продавали их на дорогах, рыбачили и продавали рыбу на дорогах, собирали ягоды и тоже продавали на дорогах, разносили почту друг другу, чинили обувь друг другу, мыли полы в местной школе и администрации, но чаще всего слонялись без дела.

Девять одноклассников Марии разъехались так быстро, что она даже не успела расспросить, чем те планируют заниматься. Только сводная сестра Аришка осталась, потому что умела копить деньги, а тратить почти не умела. В итоге накопила на какой-то педагогический техникум и должна была уехать к осени.

Днём люди ходили туда-сюда и медленно менялись местами. Вот вторая мама вытряхнула мусор из карманов. Вот синий человек, который дорого занимается обувью и к которому никто не идёт, а ему и не надо. Вот кошка, которая съела своего красивого котёнка. Вот спрятанные в земле монеты на счастье, вот любимое платье, из которого Мария выросла, вот загадочный учебник Аришки. Вот выползина — шкурка от змеи-медянки — свернулась на земле, ненужная.

Грибница пахла влажным белым облаком, непросушенным бельём, невидимой плесенью, а ещё старостью и лежалой постелью. Все дома, люди, собаки и цветы здесь пахли так, как пахнет земля, и этот запах усиливался ночью.

Ночью все открывали окна. Ночью выходили на улицы и разговаривали друг с другом. Ночью рассматривали небо. Ночью незаметно плакали, занимались любовью или подсматривали в чьё-то окно. Ночью тайком ходили в горы и задавали грибнице вопросы. Мария тоже ходила и маленькой, и большой, ложилась на землю, прикладывая ухо к земле. Спрашивала о чём-то своём, но ничего не получала в ответ. Кто-то ей потом шепнул, что, значит, вопрос был неважным. А ещё, что ответ может присниться, но сон очень легко потерять.

Вот два ведра: в одном грибы съедобные, на продажу, во втором — почти съедобные, которые никто на дорогах не покупает, а если видит, — обзывает ядовитыми.

— Перед жаркой надо отварить минут двадцать, — объясняла кудрявая соседка Ольга, держа на ладони гриб, похожий на уставший грецкий орех. — А то, если не отварить — станет нехорошо, у меня без варки один раз встали мертвецы прямо здесь, но забирать не стали.

На плите закипала вода в кастрюле. Мария делала вид, что смотрит на Ольгу, хотя на самом деле рассматривала небо. По Грибнице расползались сумерки, появлялся плотный туман. Казалось, что небо упало.

— Я уезжаю, — сказала Мария.

— Куда?

— В эскорт.

— Это как колл-центр? — Ольга села на краешек табурета с ровной, внимательной спиной.

— Почти.

— Я испеку тебе на дорогу торт, — Ольга показала пальцем на миску с розовыми смешными волнушками. — Сейчас коза накопала и камень-гриб, но с ним печь не стану, очень отдаёт бензином и чесноком...

Коза стояла во дворе и чесала о дерево рожки. Ольга любила свою козу: ходила с ней, как с собакой, молоко её не продавала, а пила сама. Рассказывала, что коза охраняет дом, и поэтому она не закрывает двери, несмотря на то, что у неё сосед — цыган.

Рядом с Ольгой и правда жили Гырцони: цыган Марко и его русская жена Светлана. Ночами Марко выходил во двор и курил трубку в виде чёрта, а ещё жёг старые вещи, иногда не свои, а чужие.

Светлана рассказывала Ольге, Ольга рассказывала Аришке, а Аришка рассказывала Марии, что трубка-чёрт досталась Марко в наследство вместе с красивой фамилией Гырцони. Он начал курить в шесть лет, когда получил наследство, и уже никогда не бросит: для него это как бросить дышать.

Часто Марко уходил спать к грибам, а Светлана его искала, но, когда находила, — передумывала будить.

— Я уезжаю из Грибницы. — Мария села на скамеечку рядом со Светланой.

Светлана задумчиво смотрела на гуляющего петуха, а в руках у неё был стакан с вином.

— Это правильно, — сказала она. — А куда уезжаешь, Машунь?

— В Барыш.

— Это что, какое-то село?

— Нет, город, наверно.

Светлана сделала глоток и облизнула потемневшие губы.

— Ты не видела моего мужа? Он опять, наверно, где-то спит, не замёрз бы...

Они посидели немного молча. Потом Мария обняла Светлану и пошла в сторону дома. У подъезда стояла телега, в телеге сидела Аришка. Волосы у неё были такого же цвета, как грибы лисички: их редкий цвет подсвечивался светом ближайшего окна.

— Я не умею выбирать. — Мария легла рядом с Аришкой в телегу и пересчитала первые звёзды. — Не могу решать правильно.

— А что надо выбирать? — Аришка с хрустом откусывала мелок. Говорят, ей не хватает каких-то витаминов, она постоянно ест то мел, то глину.

— Где платят или где быть правильно. Умное или то, что нравится. Клубничные грядки или продуктовый магазин. Как выбрать что-то одно, вдруг вообще ничего не останется, если выбрать неправильно?

Аришка откусила ещё кусочек и молча пожала плечами.

После полуночи Мария выскочила в окно и побежала к Бориславу, в маленький дом на лапах медведя. Иногда Мария и Борислав разговаривали, но чаще всего просто спали друг с другом. Мария мало что чувствовала, но Аришка объяснила, что это нормально.

Борислав ночами придумывал истории, и в Грибнице любили их слушать. Придя к нему, Мария достала из тряпичной сумочки очки, чтобы видеть чётче. Борислав сидел за столом, и от горящей свечи его лицо казалось красивым и умным. У Борислава был вытянутый подбородок с редкой смешной бородкой, похожей на проросшую

луковицу. Когда он записывал историю левой рукой — правой закручивал бородку на палец. Может, поэтому у него было так мало волос?

— Я пишу про страшное чудовище, — с улыбкой рассказывал Борислав. — Это гигантский слизень-гриб величиной с дом. Он живёт на болотах и питается жителями Грибницы, завлекая их нечервивыми грибами.

Мария всматривалась в тёмный угол комнаты: ей казалось, что от её взгляда темноты становится всё больше и больше.

— И вот все жители Грибницы собрались, чтобы убить слизня. — Борислав стукнул кулаком по столу, и Мария вздрогнула. — Они принесли ружья, удавки, вязальные спицы, палки, кирпичи, колючие ветки, дубины, иголки, сковородки...

— Они ведь могли просто не шататься там, где живёт чудовище? — спросила Мария. Темнота перед ней двигалась, как насекомое.

— ...Люди победили его. А через неделю услышали, как в лесу кто-то воет. Это была возлюбленная чудовища, она нашла следы его серебряной крови...

— И смогла его оживить?

— Нет, она выползла на гору, где больше всего солнца, на нос медведя, и лежала на нём, пока не высохла.

Мария отвела взгляд от тёмного угла, положила очки на табурет у кровати. Борислав задул свечу, и в комнате всё стало чёрным.

— Завтра я уеду из Грибницы, — сказала Мария.

Борислав какое-то время не отвечал.

— А что ты будешь делать на новом месте?

Он зашумел в черноте: двигал стул, шелестел листьями, но Мария ничего не видела.

— Мне сказали, эскорт — возможность стать самостоятельной. Там растёт моё будущее. В грядке с клубникой.

— А что такое эскорт? Надеюсь, ты приедешь на каникулы. А может, я приеду к тебе.

Борислав ударился обо что-то и ойкнул.

— Почему все твои истории так грустно заканчиваются? — спросила Мария.

— Тебе что, жалко грибов-слизней?

— Жалко. Хотя, может, смерть — это не так уж и плохо. Если бы умирать было плохо, — люди бы перестали умирать. Может, после смерти и происходит что-нибудь действительно важное.

— Грибы сегодня светятся в лесу, видишь? — Борислав хмыкнул. — Сейчас все пойдут молиться, а утром скажут, что никто никуда не ходил и ни во что такое не верит!

«Лучше бы я тоже пошла», — подумала Мария, а вслух сказала:

— Хорошая была ночь, жаль — последняя.

Наутро Мария пришла домой, чтобы собрать какие-нибудь вещи. Вторая мама сидела на кухне, перед ней на столе были пуговицы разных размеров и ящичек для сортировки. Мама в Грибнице была лучшей швеёй, все вещи приносили именно ей. Когда она волновалась, то садилась сортировать пуговицы.

Мария обняла её, положила голову на круглое мягкое плечо. От плеча пахло коровьим молоком. Какое-то время они сидели молча.

— Как часто ты сможешь приезжать? — спросила мама. — Как правило, на работе дают отпуск всего двадцать восемь дней в год, я знаю.

— Мне прислали документ на подпись, но я его ещё не читала. Наверно, там должно быть про это написано.

— Документы надо читать, вдруг тебя обманут.

Мария встала и прошла в свою комнату.

— Договор на оказание ДПА, — начала читать Мария и остановилась, поморщившись. — Звёздочка. Добровольный половой акт. Я, Мария С., проживающая по адресу Грибница, так...

Мария скользнула взглядом по диагонали. Подпись. Надо ведь проверить паспорт. Мария достала из сумочки паспорт и сверила данные: номер, дату и место выдачи, место прописки.

— Нет ничего про отпуск! — крикнула Мария.

— Что? — крикнула мама. — Не слышу, чайник кипит! Гырцони орут!

Мария положила бумаги на пыльный письменный стол и вернулась на кухню. Мама стояла у окна и внимательно смотрела во двор.

— Про отпуск пока неясно, — сказала Мария ещё раз.

В вечер отъезда Мария надела под платье самое красивое бельё. На счастливую дорогу ей кидали зёрнышки, как невесте. Она села на велосипед и ехала, маша всем рукой, сначала по дороге, потом по тропинке. Закатное солнце подсвечивало траву розовым. У болот Мария прислонила велосипед к дереву, привязала верёвочкой. Переобулась в резиновые сапоги и пошла, чвакая сапогами, напрямик к станции через болота.

Мария чвакала, но чувствовала, как земля отпускает ноги, как рвутся грибные нити. Со стороны леса кто-то смеялся и пел, но она не обращала внимания. Ей здесь никогда не страшно: за всю жизнь в Грибнице и рядом не было ни одного преступления, только разбитые окна. Веня кидал камни в стёкла, потому что ему нравился этот звук. Он объяснял, что играет на разбитых стёклах так, как на музыкальном инструменте.

В одном месте светились грибы, и Мария остановилась, огляделась по сторонам. Вокруг никого не было: Мария села на корточки, положила ладони на землю.

— Пусть мне нужно будет мыть только полы, а туалеты, особенно если они на улице, не нужно. Пусть половые акты будут лёгкими, без ковров. Пусть спонсорам понравится, как я работаю в клубничных грядках, и они попросят убираться у них дома. Дай подсказку, что делать дальше, если я опять напортачила. Приходи во сне, если не хочешь сейчас отвечать.

Мария погладила землю и пошла дальше. От её сапог в сторону прыгали лягушата. В глазах стояли слёзы, но никуда не стекали. А вот вдалеке стало видно светящуюся станцию, окружённую чёрными ёлками. Мария сняла сапоги и надела туфли, выйдя на асфальтовую дорожку. Потом остановилась у фонаря, чтобы почистить каблуки: на них были нанизаны листочки и земля, как на шпажки.

На станции никого не было, только какой-то старик. У него было так много волос, что казалось, там, где начинается борода, заканчиваются ресницы. Поезд прибыл тёмно-жёлтым и спящим. Не было ни одного пассажира, кто бы не спал. Мария села на свою узкую боковушку и смотрела в окно. Поезд почти сразу тронулся, будто и не останавливался, и Марии стало обидно за Грибницу. Вот какая здесь маленькая станция, людей на одну минуту. Она достала торт из волнушек от Ольги и съела целый кусок.

У Марии под боком дрожала дверь туалета. Справа на нижней полке спала худая черноволосая девушка, и Марии показалось, что она тоже едет в клубничные грядки

и, может, видит влюблённый сон. Нога из-под одеяла у неё торчала грязная. Может, у неё не было сапог, и через болота пришлось идти босиком. Может, бережёт набойки туфель для того, чтобы их хватило на свидание.

Мария купила постельное бельё, расстелила полосатый матрас. Вдоль путей мелькали пятна фонарей и деревьев. Мария рассматривала с удивлением своё лицо в отражении — ей показалось, что она стала старше.

Тот же старик со станции нёс чай мимо Марии, чтобы пить его и курить в тамбуре. Пахнул землёй и старостью: тем запахом, которым пахнет Грибница. Девушка с нижней полки перевернулась на другой бок и смешно всхрапнула.

Мария, давя улыбку, смотрела в окно, облокотившись о деревянную оконную раму. Почему-то становилось всё жарче, будто в вагоне разгоралась печь. Мария залезла под тонкий пододеяльник и стянула под ним колготки, но легче не стало. Какое-то время она крутилась, и пододеяльник крутился вместе с ней, как вторая неудобная кожа. Потом Мария всё-таки заснула, хоть и не привыкла ложиться так рано.

Мужчина со смазанным лицом повернулся к Марии и показался смутно знакомым. Мария хотела подойти к нему, чтобы посмотреть получше, но совсем не могла пошевелиться. Потом из-за спины Марии вышла женщина, и лицо её было грустным. Все они превратились в большой гриб: большой и мягкий, как плюшевая игрушка.

— Продавай камень-гриб, станешь богатой. Вот ответ. Не слушай никого. Заведи собаку, а может, козу, и копай под корнями там, где летают жёлтые мушки. Это грибной клад, грибное золото, ключ к богатству.

Марию кто-то тряс за плечи. Она открыла глаза и вместо гриба увидела круглое и блестящее лицо проводницы.

— Барыш! Барыш! Баа-аа-а-рыш!

Мария схватила сумку. Пробежав через весь вагон, выскочила из поезда на станцию. Поезд медленно пополз дальше, и со скрипом опустелись оконные ставни. Кто-то кинул Марии её резиновые сапоги и что-то, завернутое в фольгу.

Мария увидела высунутую в окно голову проснувшейся девушки с грязными ногами и мысленно пожелала ей счастья. Наверно, она уже была в Барыше и может поехать дальше, в какой-нибудь новый город побольше.

Мария развернула фольгу: внутри лежала половинка варёного яйца и кусочек курицы с оранжевой кожей. Она съела всё это быстро и с большим удовольствием. Облака из-за восходящего солнца были такого же цвета, что и куриная кожа. У станции была припаркована большая машина с тонированными стёклами. Рядом стояла женщина в городском бежевом костюме с табличкой «Клубника». Её руки были в кружевных перчатках. Мария махнула женщине, но та не пошевелилась, потому что на что-то сердилась.

Мария сняла кофту и вывернула её наизнанку. Вывернутой надела снова, потому что так приходят новые решения.

Амурхан Кибиров

Тем, кто с родиной слился

С дигорского. Перевод Константина Гадаева

* * *

Трудно горцу без гор.
Оперившись, он их покидает,
но ни капли собою не горд
и беззвучно рыдает.

Дикий край наш суров
и не каждому местному впору.
Не страшна красота ледников
лишь орлиному взору.

Не летит далеко.
Где родился, там и сгодился.
Никогда не живётся легко
тем, кто с родиной слился.

* * *

Комом в горле — грешная душа.
Сердце в горькой песне догорает.
Сколько этим воздухом дышать
мне осталось? Счастье умирает.

Был я утешения лишён.
Не привык рассчитывать на милость.
И чем дольше по земле я шёл,
тем тревожней время становилось.

Кибиров Амурхан Яковлевич — осетинский поэт, переводчик, прозаик. Родился в 1943 году в селении Сурх-Дигор в Северной Осетии. Окончил филологический факультет Северо-Осетинского университета. Работал учителем в школе, литсотрудником в газете, редактором-переводчиком кафедры ЮНЕСКО в университете. Автор нескольких сборников стихов, в том числе «Изумрудные звёзды» (Владикавказ, 2019). Один из составителей книг осетинского эпоса «Нарты» на дигорском языке (2005), «Осетинские нартские сказания» (2008) и других. Живёт во Владикавказе.

Гадаев Константин Лазаревич — поэт, переводчик, телережиссёр документальных фильмов. Родился в 1967 году в Москве. Автор нескольких книг стихов, среди них «Войди в комнату твою» (2018) и «Стихи, сочинённые на острове Кифера в июне 2019 года». Живёт в Москве. В «Дружбе народов» печатается впервые.

* * *

За речкой кони
пасутся наши,
и ты платком мне
оттуда машешь.

В ветвях улыбка,
блеснув, пропала —
по влаге зыбкой
затрепетала.

В груди метнулся
платок твой красный,
и я рванулся
в поток опасный.

С тобой согреться
теперь могу ли?
Раздуй мне в сердце
горячий уголь!

* * *

Мы не из рода райских птах,
чье оперение блистает.
В саду роскошном падишах
о наших песнях не мечтает.

Любая птица рада петь,
чтоб, угождая господину,
кормушку полную иметь,
тепло и свет — за песнь едину.

Мы — вороны. Наш норы дик.
Наш дом родной — лесная чаща.
Пером — черны. А песня — крик.
Свои мы в жизни настоящей.

Подчас бываем голодны
так, что когтями землю роем.
Мы только выживать годны.
Мы — вороны, а не герои.

Мы — чаши горечи и гнева.
Звезд ледяных печаль в глазах.
В сердцах нет места для напева.
Ком в горле. Рана в небесах.

Мы не из рода райских птиц.
Наш путь ведёт по краю бездны.
Пусть падишах, простёртый ниц,
услышит крик наш, вместо песни.

* * *

Я гляжу назад с тоскою,
где ты, дней моих весна?
Пенной, бурною рекою
в дальний край унесена.

Где я? Что со мною стало?
Где мечты мои, куда
улетели с птичьей стаей
и, похоже, навсегда?

Жизнь меня не баловала.
То наотмашь, то под дых

била, не переставала
бить, покуда не притих.

В щёлку приоткрытой двери
пробивался тёплый свет.
Только я ему поверил,
а его пропал и след.

Наобум по бездорожью
уводила колея.
Как я жил? И как я прожил?
И в итоге — жил ли я?

* * *

Живы мы? Или нет никого?
Обличат, так зарюют на раз.
Может, все мы со света *того*,
а на *этом* и не было нас?

Краем бездны вела нас тропа.
Солнце немощным сделалось вдруг.
Среди белого дня свет пропал —
только чёрный зияющий круг.

Шли мы, ввысь устремляя умы.
Шли на ощупь в пространствах чужих.
Пусть пока что не умерли мы,
только нас уже нету в живых.

* * *

Из люльки в гроб —
недолгая дорога,
поплакать чтоб,
попраздновать немного.

Кому-то мягок путь,
кому-то — колок.
Так просто соскользнуть
с вершины голой.

Так просто потерять
себя и Бога.
Не время умирать —
зовёт дорога.

Но ведал кто б,
что обрести хотим мы.
Вся жизнь — из люльки в гроб
прыжок единый.

Игорь Булкаты

Иорам

Рассказ

И тогда она сказала:

— Как мне всё опротивело! — И заплакала.

Мурат смотрел на свою раздавленную жену, полулежащую на продавленном диване в характерной для беременных позе. Серый халат с блестящей кнопкой на воротнике и толстые шерстяные носки вызвали в памяти разомлевших от жары больных во дворе облупленного здания районной больницы, и фонтанчик с гипсовым Амуром посередине, и круглый бассейн, в котором некогда плавали красные рыбки.

— Перестань плакать, — сказал он и зашлёпал стоптанными тапками из угла в угол.

Комната была просторной, но неудобной. Пахло окурками и неприбранной постелью. У стены стоял массивный письменный стол, заваленный журналами и исписанными листами бумаги. К краю его была прищиплена оранжевая настольная лампа. В углу высился старый мольберт с подъёмным механизмом, на ручке которого висели не первой свежести рубашки. На подставке — зеркало в форме эллипса. Возле дивана — стопки книг, укрытые ватманской бумагой. Сквозь незанавешенное двурамное окно виднелся скверик с песочницей и каруселями. На лавке сидел пенсионер в куртке и кроссовках и читал газету, покачивая детскую коляску.

Жена всхлипнула. Лицо её лоснилось, будто она только что наложила жирную косметическую маску. Кончик носа торчал как красный поплавок. «Удивительно, — подумал Мурат, — откуда в этом хрупком существе столько влаги?»

— Дорогая, прошу тебя, перестань плакать, — сказал он с неприязнью. — Неужели не надоело?

Она резко повернула голову и произнесла в сердцах:

— Не обращай со мной как с потаскухой!

Он подошёл к окну и упёрся ладонями в пыльный подоконник. Пенсионер дремал, не опуская газеты. Очки сползли с переносицы. Коляска наклонилась под тяжестью его руки.

Булкаты Игорь Михайлович — прозаик, поэт, переводчик. Родился в 1960 году в Тбилиси. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Мара, ёмкость для гения» (2022, № 7).

— Извини, если обидел, — пробурчал Мурат.

Жена шумно вздохнула.

— Просто ты никого не любишь, кроме себя.

— Ну вот, опять! — Зашагал он по комнате, сунув руки в карманы и сжимая почти пустую пачку сигарет.

— Соскучился по своему Иораму? — Она утёрла нос третьей фалангой указательного пальца и посмотрела на него глазами побитой собаки. — Ну скажи, за каким чёртом ты едешь туда?

— Он вызвал меня, — сказал Мурат. — Старик боится умереть, не повидавшись. А ещё у него из живота торчит катетер.

— Ну и что! — завывала жена. — Мало ли в мире людей с катетером в животе!

Мурат заткнул уши.

— Прекрати! Старик не стал бы звать, если бы не крайние обстоятельства!

Он осторожно опустился на край дивана и увидел, как тяжело она поворачивается на бок, и плечи её подрагивают, а маленькая рука с коротко остриженными ногтями судорожно сжимает край шерстяного одеяла.

— Ну и катись к нему, если он тебе дороже семьи! О-о-о-о-о!

— Успокойся, тебе вредно волноваться, — тронул он её за плечо.

Жена отбросила его руку.

— Только не надо этого, — закачала она головой, и крупная слеза скатилась на мочку уха. — Не надо, ради бога.

— Ты чего? — спросил он недоумённо.

— Строить из себя не надо, вот чего. Я же тебя насквозь вижу. — Высморкалась в измятый платок. — Фу! Принеси полотенце из ванной.

Мурат встал, неспешно приблизился к двери и повернул круглую никелированную ручку. Коридор был длинный и тёмный. Из туалета доносился шум воды. Он не стал зажигать свет, поплёлся к ванной вдоль стенки, на ощупь. «Всё, — думал Мурат, трогая ладонью холодную шербающую стену, — на этот раз железно!» Остановился у телефонного столика, присел и закурил. Он вспомнил обмельевшую реку Саукаба и утлый деревянный мост с поручнем, который снесло в позапрошлом году во время паводка. Они спешили тогда к виноградникам. Иорам попробовал вброд. Но его чуть не сшибло с ног, и он выругался. А вода всё прибывала и прибывала, ещё немного, и хлынула бы к задкам виноградников. Иорам схватился за голову и, охая, побежал домой запрячь быков, а он стоял на бугорке и наблюдал, как мутная река подмывает илистый берег. «Ты куда?» — крикнул Мурат, но крик потонул в грохоте, и вдруг что-то ёкнуло под сердцем — такое одиночество охватило его. Через некоторое время Иорам приехал на арбе, и они сняли сапоги и повесили их на торчащие из грядок колья — эдакие четыре перевернутые ноги, — и Иорам предупредил, чтобы он держался покрепче, не то, чего доброго, свалишься в воду и костей не соберёшь, а потом стеганул быка — того, что постарше, — и они двинулись к реке. Быки нехотя, с превеликой осторожностью, ступали, щупая копытами дно, и ревели так, что с души воротило, а Иорам бил их палкой и приговаривал: «Жагъжл баззайут, чтоб вы без хозяина остались! Шевелитесь, пока я вам хребты не перешиб!» Колёса перекатывались через голыши, громыхая, и каждый раз они с Иорамом подпрыгивали против воли — аж кости зудели, — а Мурат всё норовил заглянуть Иораму в лицо, запомнить этот оскал со стёртыми передними зубами, неправильный прикус с выдвинутой вперёд нижней челюстью, и белые усики над тонкой губой, и глубокие морщины на лбу, похожие на рытвины, и тоску в глазах. Его трясло то ли от холода, то ли от вдохновения, и он мечтал скорее дорваться до бумаги и всё записать, пока не забылось, и потом, когда, наконец, они переправились

через реку и укрепили берег, когда распрягли быков, а Иорам, видя, как у тех дрожат ноги и как они поводят до крови натёртыми хребтами, обнял их за шею и заплакал, — он мечтал только о бумаге и ручке.

Мурат плюнул на окурок и затушил его. «Я никогда не умел работать, — подумал он, — я и сейчас не умею. Какой маразм!» — Он треснул кулаком по стене и почувствовал, как штукатурка посыпалась на костяшки пальцев.

— Что там случилось? — слышалось из комнаты.

— Да ничего особенного, — спокойно ответил он.

— Нашёл полотенце?

Возле ванной поблёскивал стоп-сигнал его старого велосипеда «Турист». Мурат щёлкнул выключателем, потрогал давно спущенные шины, дзынькнул звонком и, встав в позу, продекламировал:

— А море — кладбище велосипедных рулей!

— Чем ты там занимаешься? — снова раздался недовольный голос жены.

Мурат дёрнул крючком мизинца, словно винтовочный затвор, металлическую задвижку, распахнул дверь и вошёл в ванную. Пахло хлоркой, сыростью и замоченным бельём. На трубе сушилось несколько пар носков. Он глянул на себя в зеркало, провёл ладонью по небритым скулам и снял с вешалки вафельное полотенце.

— Это твоё единственное полотенце? — поинтересовалась жена, когда он вернулся в комнату.

— Нет, — ответил Мурат.

— Уши надо мыть получше, — назидательно произнесла она и высморкалась.

Мурат пожал плечами и опустился на корточки у стены. Жена откинулась на подушку, подложила руку под голову. Из-под одеяла показалась белая нога с голубыми прожилками и родимым пятном, которое, когда жена садилась, расплзлось кляксой, — и, глядя на неё, Мурат с горечью подумал, что всё уже в прошлом. А некогда в Сытинском тупике, находясь в полубредовом состоянии, он записывал в дневнике: «Ах, её щиколотки! Как божественно тонки они!»

Он грустно усмехнулся.

— Всё Иорама вспоминаешь? — спросила она.

— Нет, тебя.

— Какая честь! Только я, слава Богу, ещё живая!

— Мы ведём себя как надоевшие друг другу любовники, — произнёс Мурат не поднимая головы.

— Ты прав, — согласилась жена. — Мы надоели друг другу. Но что делать с ним? — ткнула она указательным пальцем себе в живот. — Он появится через две недели.

— Наверное, я виноват перед тобой, — сказал он.

— Как же ты бесишь меня! — выкрикнула с надрывом она и уткнулась в грязное полотенце. — Твоя страдальческая физиономия, твои несчастные глаза! Мне тошно их видеть!

Мурат подошёл к ней и пригладил ладонью мокрые от слёз волосы. «Это правда, — подумал он, — я и себе-то осточертел, а ей уж тем более». В горах проще. Я бы взял её с собой, но она никогда не согласится расстаться с городом... Иорам поднимал меня с первыми петухами, и мы шли к Джержиевским лугам. Он учил косить, а потом отдыхать — так, чтобы сохранить запал работы. К полудню приходила хромая Коцон и кормила нас. Она приносила с собой вечку, туго завёрнутую в коричневую шаль с бахромой, да запотевший кувшинчик янтарного вина. Она еле волокла ногу, и я, увидев её силуэт за дикой грушей, спешил навстречу, чувствуя, как к горлу подступает что-то тёплое и тугое, — и я не мог этого описать.

— Неужто некого было послать? — задавал я один и тот же дурацкий вопрос, и Коцон, раскладывая на газете горячий кукурузный чурек, лук, сыр и потрясающе вкусный маринованный чеснок, отвечала:

— Шай ала, чего мне просить других, пока я и сама могу.

Я откидывался на траву и, прикрыв глаза, вдыхал аромат покоса. А Иорам, играя желваками, говорил:

— Встань, не лежи, простуда — она, как змея, вползает в усталого человека.

Мы ели чурек с буйволиным сыром и запивали терпким вином. Когда же я доставал записную книжку в чёрном дерматиновом переплётё и шариковую ручку-кортик и спешил описать и покос, и дубняк за холмом с жертвенником, увешанным овечьими шкурами, и дорогу, усыпанную белым гравием, и зелёные холмы, до которых, казалось, рукой подать, и копны сена, перехваченные пуговником, перепелиную возню и треск цикад, и полосатую фланелевую рубашу Иорама с дюнами соляных кругов под мышками, и жилистую шею, и бородавку на левом ухе, — он подходил и с напускной серьёзностью произносил:

— Ныуаж уый, брось глупостями заниматься, вон сколько ещё косить.

И я убирал записную книжку и шёл косить, трогая волдыри на ладонях, и смеялся:

— Иорам, это не глупости, это очень серьёзно!

— О чём ты пишешь? — доставал он из кармана галифе брусок и не спеша отбивал косу, да так, что свист раздавался по всему ущелью.

— О тебе, о Коцон, о покосе, — отвечал я.

— Ты что, писатель? — снова был вопрос.

И я смущённо пожимал плечами:

— В некотором роде.

— Если ты писатель, то напиши о своём деде, — говорил он, трогая подушечкой большого пальца лезвие косы. — Напиши о моём брате и ещё о том, что никто не знает, где покоится его прах.

Жена внимательно наблюдала за ним.

— Чего тебе не хватает? — спросила внезапно.

— Не знаю, — пожал плечами.

— Студентом ты залез в долги, я за тебя рассчиталась. Нуждался в жильё — пожалуйста, теперь есть квартира. Сиди и кропай свои рассказы, никто не мешает.

Мурат потёр глаза, чтобы разогнать усталость.

— Пойду покурю.

— Нет, кури здесь, — поймала она его руку.

— Я думал, это вредно для вас с ребёнком.

— Ах, какой заботливый! Если б ты действительно думал обо мне и ребёнке, то не бросал бы нас.

— Никто вас не бросает, — нехотя возразил он. — Я же сказал, ненадолго.

— Знаем мы твоё «ненадолго». Ещё неизвестно, куда ты собираешься, может, к бабе какой.

Мурат пересел к столу и закурил.

— Ненавижу тебя! — процедила она сквозь зубы.

Он вскинул голову:

— Мне надоела твоя истерика.

— Да-да, ненавижу! — повторила жена, и голос её сорвался на крик. — Я жизнь свою загубила ради тебя. Как же, ты у нас писатель, пиит, а я — ничтожество, пустое место. Тебе стыдно со мной на людях, будто я провинциалка какая. Виноват,

Светлана Михеева



Колокол воздуха

Призрак

Равнодушно смотрит дом разноцветными глазами
Как природа за окном обливается слезами.
Тихо оторопь берёт неподвижное в охапку —
Я стою. А гость идёт, у окна снимает шапку.

Говорит, в иные дни ужас им овладевает —
Ключик, спрятанный в тени, ничего не открывает.
Но велит: его храни. Я храню, куда деваться,
Ведь природе за окном надо впрок нагореваться.

Гость не смотрит на меня. Он глядит куда-то мимо,
Для него уже давно область жизни — нелюдима,
Отблеск в памяти жилья. Видно мимо занавесок:
Бочка, полная рыжья, опрокинута в подлесок.

Следовало бы сказать: это смерть привольно дышит,
В кущах ближнего леса.
Только гость меня не слышит, смотрит, как сосну колышет
Разъярённая тоска,

Детка взнуздывает велик, тётка сумку волочёт...
Что же, что же в самом деле гостя к осени влечёт?
Всяк исчезнет, сгинет, канет, и его размоеет след.
Всяк — и я — наверно станет тем, кого здесь больше нет.

И во снах библиотеки, в млечном кухонном чаду
Я скажу тогда навеки: оставайтесь, я уйду,
Бросьте ключ, кому он нужен, эта ноша нелегка,
Если больше нет снаружи подходящего замка.

Михеева Светлана Анатольевна — поэт, прозаик, эссеист. Родилась и живёт в Иркутске. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Автор двенадцати книг, в том числе пяти поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Урал» и др. Участница программы Мастерские АСПИР. Лауреат Волошинского конкурса и премии им. С.Т.Аксакова.

* * *

Алексее

Хэом! — делает колокол,
он спрятан внутри воздуха,
что облицован твердью,
синей, как молоко
в тонких скрипучих вёдрах.
Эуу! — делают вёдра,
раскачиваясь вдоль тела,
несущего их внутри.

Ааахх! — делает тело,
присаживаясь на жёрдочку,
на лавочку, на обочину
или вдоль моря идя.
Идя вдоль моря как проклятое,
с вёдрами, полными времени,
смещения разных звуков —
речи, стихотворений,
слышимых сквозь прилив.

Их распознать навскидку
практически невозможно —
как голоса любимых
на фото с дырявым дном.
Воображенье памяти —
болезненное чудовище
с незаживающей раной.
Но славно, что ты — при нём

сторожем, нянькой, другом,
неравнодушным встречным,
ехавшим вдоль и мимо,
съехавшим здесь в кювет.
Слышно, как бьётся в вёдрах,
оставленных на веранде,
то ли вода,
то ли рыба,
то ли колокол воздуха —
завтра выпущу в море,
выключи верхний свет.

* * *

Человек сливается с древним смехом,
исчерпав обыденные слова.
Человек случается древним эхом
В потаённой области торжества.

И уже, глядишь, перевозку нанял,
И уже почувствовал, что пора —
Не бывает точных воспоминаний
В этой области космоса до утра,
В темноте, запоем — неразбериха
И вопросов нервная череда.
Ты на вход, приятель, или на выход?
Ты оттуда, приятель, или туда?

И его предчувствуя *здесь* отчасти,
Тело спящего ищет сухой ночлег.
Мимо бродит ящер бездумной страсти.
Тело спящей ловит последний снег.

Ольга Олесина



«Стучал копытами на перемене»

Рассказ

Первого сентября на торжественной линейке под табличкой «ЗА» все переглядывались и перешёптывались. Один мальчик с букетом всё-таки решился спросить:

— А ты кто?

— Кит, — сказал Кит.

Мальчик отошёл обсудить ответ с одноклассниками, потом вернулся и сообщил:

— Ты не кит. У тебя нет фонтана на башке.

— Нет, это меня так зовут.

— А! Никита?

— Нет, Китоврас.

— А зачем ты пришёл?

Кит стоял в белой рубашке и форменном пиджаке под той же самой табличкой «ЗА» с таким же букетом, и вопрос его сбил. Но он нашёлся:

— А ты зачем?

— Я здесь учусь! С первого класса!

Ответить на это было трудно: Кит тут с первого класса не учился. Но он вспомнил нужное слово:

— Я здесь по поводу инклюзии, можно так сказать. Я в этом плане.

Мальчик отошёл, обескураженный, и до Кита донеслось:

— Ин... что?

Когда Кит впервые сам услышал это слово, он подумал, что кто-то ошибся и в «иллюзию» напихал лишних букв. Но и мама, и папа, и директор всё время повторяли: «инклюзия-инклюзия». Значит, то была не оговорка, а специальное заклинание. Для перенесения кентаврёнка в человеческую школу.

Директор говорила родителям:

— У нас гуманистически ориентированная педагогика. В классе теперь вместе с вашим сыном двадцать девять с половиной человек. Наша цель — чтобы к концу обучения их стало тридцать.

Ольга Олесина родилась в 1978 году в Ленинграде, окончила исторический факультет СПбГУ. Рассказы для детей печатались в журнале «Чиж и ёж», электронном журнале «Формаслов» и коллективных сборниках. Участница проекта АСПИР — «Мастерские». Живёт в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Кит понял, что к одиннадцатому классу он из половины человека должен стать целым. Все четыре ноги в инклюзию не влезают. Оно и понятно: «инклюзия» звучит как что-то малюсенькое и узенькое.

Со своими быстрыми и сильными ногами Кит расставаться не хотел. Однако переминаясь на линейке отдельно ото всех и отвечать на вопрос: «Зачем ты сюда пришёл?» — было не особо приятно. Требовалось стать человеком. Но директор не сказала, какие ноги лишние — передние или задние.

На деле инклюзия оказалась именно такой тесной, какой представлялась на слух. Вместо парты для Кита в конце класса обнаружилась высокая тумбочка. За такой тумбочкой выступают президенты, тогда она называется «трибуна» и из неё торчат микрофоны, как грибы из пенька. Из его тумбочки микрофоны не торчали — никто не ждал, что Кит будет произносить речи. А жаль, ведь он считал себя неплохим оратором.

Если бы инклюзия сузила только парту, было бы ничего, учиться можно. Но из-за узости этой самой инклюзии Кит не мог в школе ходить в туалет. То есть право ходить в туалет он имел. Но кабинки для лошадей не были предусмотрены.

— Мам, пап, я хочу в старую школу, — сказал Кит вечером первого сентября. — Эта для людей. А я, как бы сказать, кентавр!

— Китюша, нам очень повезло, что тебя взяли. Будешь учиться в спецшколе с углублённым изучением волшебства!

— Вам повезло, а мне не очень, — пробурчал Кит.

— В школу для кентавров и сфинксов ты не пойдёшь, — отрезал папа. — Там пользуются тем, что по нормативам должно быть тридцать человек в классе, и набивают в классы по шестьдесят получеловек!

Мама попыталась Кита отвлечь:

— Китюша, а хочешь, гусебабочку купим?

Игрушечные гусеницы из волшебной пластмассы в этом году продавались на всех лотках в городе. Это были гусеницы-трансформеры: они умели превращаться в бабочек. Правда, не сами — владелец игрушки должен был постараться. Нужно было катать свою гусебабочку по полу, а она от этого обматывалась ниткой. Кокон имел волшебный секрет: если ты хорошенько закутаешь в него свою гусеницу, то бабочка вылупится, а если сделаешь два оборота абы как — получишь просто обмотанную нитками игрушку. Владельцы гусебабочек соревновались, кто старательней, и докатывались до круглых клубков шерсти.

— Ну давай, — вздохнул Кит. Он уже успел заметить на школьном полу особо увлечённых гусеничных катальщиков. Наверное, гусебабочка входит в обязательный набор человека.

Ещё в набор двуногого девятилетнего человека входили кружки, которые в школе назывались «внеурочная деятельность». Оказалось, что ни один из них Киту не подходит. На рисовании мольберт стоял слишком низко. На шахматах доска и противник тоже располагались где-то внизу. Киту пришлось бы гнуть спину всю игру, а это уже не шахматы, а наклоны! И на танцы его не взяли: все в чешках, он один в копытах.

На всю школу он был единственным четвероногим учеником. Директор не реже раза в неделю водила в класс важных тётенек на экскурсию и повторяла заклинание: «Инклюзия-инклюзия». Кит в такие моменты стоял за своей тумбочкой и пытался ощутить, происходит ли превращение в человека. Но никакие ноги не отваливались.

Инклюзия сузила не только парту и туалетные кабинки: она будто бы стискивала самого Кита. Когда завуч проверяла, как одеты ученики, то сказала Киту:

— В положении о школьной форме ясно написано: для учащихся мужского пола — тёмные брюки.

Кит никогда в жизни не носил брюк — только попону в холодную погоду. А брюки для лошадей — это попона с рукавами? Или нет, туда же суют не руки, а ноги, значит, с ногами.

— А на какие ноги нужны брюки — на передние или на задние? — спросил Кит. Завуч на вопрос не ответила, но продолжила наступать:

— Если сегодня разрешить тебе ходить без брюк, то завтра все мальчики придут в школу без брюк!

Странное у неё было мнение о мальчиках. Кит нашёлся:

— А я полумальчик, можно так сказать.

Одноклассники, которые это услышали, заржали как лошади.

В школьных рекреациях не разрешалось стучать копытами. Топать можно, а цокать нельзя. Одна учительница увидела Кита на перемене и велела:

— Ну-ка, подойди! — А когда он прискакал, сказала: — Дай сюда дневник!

Это была не своя учительница, а какая-то дежурная в рекреации.

— А что я сделал? — растерялся Кит.

— Нельзя цокать так громко!

«Сами же сказали подойти», — подумал Кит. А разве он виноват, что ноги цокают! Но возразить вслух не решился, и незнакомая учительница написала в дневнике: «Стучал копытами на перемене». У неё почерк был такой — одни палки. Строчка — красный частокол.

После этого Киту запретили между уроками выходить из класса: травмоопасно. Одноклассники на переменах скакали как кони. А Кит стоял за своей партой — как единственный обладатель копыт. Ждал, когда же заклинание «инклюзия» подействует, и он превратится в человека.

Мама купила ему гусебабочку. Но с помощью гусебабочки стать человеком тоже не вышло. Оказалось, что кентавру неудобно катать её по полу — за ней же нужно двигаться на корточках или на четвереньках. Лошади на корточках не ходят и на четвереньках не ползают. На переменах половина их третьего «А» исчезала под партами со своими игрушечными мотками. А Кит мог только смотреть сверху, как одноклассники то и дело сталкиваются внизу в проходах. Его гусеница лежала в портфеле.

— Китюша, подружился с кем-нибудь? — спрашивала мама.

— Они со мной не дружат, — жаловался Кит.

— Так ты не жди, а сам подойди.

Кит решил завоевать дружбу, показав себя одноклассникам с лучшей стороны. Лучшей стороной, как у всякого кентавра, у него были ноги. Стометровку на физкультуре бегали в парах. Кит свою пару, конечно, обскакал. Он показал себя таким быстрым, что будущие друзья должны были встречать его на финише живым коридором! Разогнавшись так, что в ушах свистело, он уже радостно чувствовал, как вырывается из красного частоккола инклюзии на волю... Но вышло только хуже. Его парой был мальчик по имени Костя, тот самый, который спрашивал первого сентября, как его зовут. После забега никто не хлопал Киту и не поздравлял его с победой. Зато Костя стал что-то тихо и возмущённо говорить своей подруге, девочке по имени Мила. А та пошла к физруку:

— Это несправедливо! У Кости две ноги, а у этого четыре!

После этого Кита в пару уже никогда не ставили, чтобы не втаптывал ничью самооценку в асфальт стадиона.

— Они не хотят со мной дружить, — сказал Кит маме.

— Тебя дразнят? — начала волноваться мама.

— Называют «кит», — скривил губы Кит. — И «полумальчик».

— А! — лицо мамы прояснилось. — Так ты же и есть Кит и полумальчик!

Ей было никак не растолковать, что это обидно. Другим при входе в класс говорили «привет!» и «здорово!», а ему «о, этот тут». Или вообще «лошадка»!

Была у Кита ещё одна лучшая сторона. Когда его вызывали отвечать на окружающем мире или на магии, он старался показать одноклассникам и её тоже:

— ...После чего, однако, соответственно...

— Выпендривается, — громко шептали за партами внизу.

И Кит вообще передумал с ними водиться. Раз ему никак не вписаться в инклюзию, он решил дать всем понять: да, он кентавр. А кентавры в случае чего могут и лягнуть.

— А бывают секции специально для нас? — спросил он у папы.

— Поло, — сказал папа. — Игра, где кентавры клюшками гоняют мяч по полю.

— А люди разве в это не играют? На лошадях?

— Играют, но у них, как бы сказать, это спорт для богатых. А у нас даже дети могут сколотить дворовую команду по поло.

Во дворе у Кита команды по поло не было: он жил не в кентавровом районе, а в человеческом доме на первом этаже. Кит попросил папу:

— Запиши меня.

Правда, ему было некому в классе небрежно бросить: «Кстати, у меня сегодня тренировка по поло». Потому что никто не интересовался, куда Кит идёт после уроков.

Занятия для кентаврят проходили на стадионе соседнего детско-юношеского клуба.

— Игра командная, — сказал тренер Хирон Евгеньевич, когда все впервые выстроились перед ним. — Если вы скачете быстрее всех, но не обращаете внимания на других игроков — вам в поло делать нечего. В поло побеждают взаимодействие и взаимовыручка!

На первой тренировке они только бегали по стадиону галопом, клюшек ещё ни у кого не было. Кит решил учиться обращать внимание. Он не знал, что именно пригодится в поло, и подмечал всё подряд: вон тот полумальчик ходил в его прежнюю школу, в параллельный класс, а вот у этого привычка теревить завязки на капюшоне спортивной куртки. Он даже запомнил все имена и кто какой масти! Жаль, что тренировать взаимодействие и взаимовыручку было пока не на чем.

Душевые в клубе были и человеческие, и кентавровые. А в раздевалке имелись огромные фены, чтобы сушить шерсть, а то ведь человеческие руки не смогут вытереть полотенцем весь конский корпус. Кит с удовольствием погрелся под феном, перед тем как выскочить на холодную улицу.

Напротив входа в клуб на скамейке сидела человеческая девочка. Обращать на неё внимание было не нужно, она ведь не из команды. Но Кит так увлёкся обращением внимания, что всё-таки присмотрелся. Это была Мила, и она отчего-то тёрла глаза кулаками.

— Эй, — сказал Кит. — Что, собственно говоря, случилось?

— Бежала на занятие... упала, — всхлипнула Мила. — На ногу не могу наступить. А мама ещё только через час за мной придёт.

Кит вспомнил про взаимодействие и взаимовыручку. Можно потренировать!

— Я, как бы сказать, довезу. Только не говори никому в классе, что ты на мне ехала.

Мила кое-как встала здоровой ногой на скамейку. Пришлось подтягивать её на спину рукой. Забралась, цепляясь за куртку Кита, и обхватила его за пояс. Она оказалась

не слишком тяжёлая. Кит пошёл шагом, чтобы Мила не свалилась. Она из-за спины спросила:

— Почему не говорить?

— В том плане, что я лошадь. А я, между прочим, не лошадь.

— А кентавры никогда не возят людей?

— Э-э... возят, — вспомнил Кит. — У нас дома есть фотография, папа в студенческие годы друзей катал. Мой папа учился в университете!

В Милином доме не было грузового лифта, только маленький. Но втискиваться в лифт и не понадобилось: Милина мама уже спустилась, разохалась, и Мила на спине Кита поехала в травму. Под конец дня он чувствовал, что ноги прямо по-настоящему болят, и эта боль не приятная, как от небольшой усталости, а навязчивая и противная. Зато на душе, наоборот, было приятно.

На следующий день, когда Кит вошёл в класс, сразу несколько человек обернулись и даже подошли к нему:

— Привет! Здорово! А правда, что ты Милу Клотову спас?

— Я, собственно говоря... — смутился Кит.

— Да! Он спас! — громко подтвердила Мила. Она сидела за партой с забинтованной ногой, а рядом стояли костыли. — Он не лошадь, а кентавр! Кентавры возят на спинах своих друзей!

— А я твой друг? — тут же спросил у Кита Костя.

Кит впервые слышал о том, что Костя его друг. Но два друга лучше, чем ни одного.

— Вообще говоря, да.

После этого в друзья записался весь класс: всем хотелось покататься.

— Мне нельзя на переменах выходить из класса, — напомнил Кит.

— Это несправедливо! — воскликнула Мила. И все пошли к директору просить за Кита, чтобы ему снова разрешили проводить перемены в рекреации. А Мила с больной ногой не пошла, а поехала — на спине.

Директор выслушала Милу и сказала:

— Конечно, можно. Я вообще не понимаю, кто установил такое неинклюзивное ограничение. Китоврас человечнее многих людей!

Кит удивился — выходило, что превращение в человека идёт полным ходом, а он и не заметил. Даже ноги не отвалились!

Перемены были отвоёваны. Установили очередь катания. А Мила перед самым звонком сказала:

— Мы с мамой думали, что тебе подарить. Хочешь гусебабочку?

— По поводу гусебабочки — у меня есть.

— А почему ты никогда не играешь? Я не видела.

— Я не могу катать по полу, соответственно.

— Ты же можешь по стене!

На перемене Кит впервые достал свою игрушечную гусеницу, и Костя, который должен был ехать на нём первым, тоже сбегал к своему портфелю и взял свою:

— Классно ты придумал! Так интереснее.

Кит помог ему забраться к себе на спину. Он шагом двинулся по коридору, не отходя от стены, и гусебабочка в руке Кита из гладко-пластмассовой начала становиться жёстко-нитяной. И Кит поверил, что когда-нибудь она непременно полетит.

Вера Калмыкова

Прямые не пересекаются: о разном человеке Вячеславе Шаповалове

Вячеслав Иванович Шаповалов выудил меня на просторах фейсбука в 2018 году, после выхода моей статьи «Не надо предпринимать: Найти Андрея Синявского» в журнале «Октябрь». С первой минуты первого разговора Шаповалов отработывал образ сильного мужчины. Волевого. Решительного. Хозяина жизни. Я живу-то его никогда не видела; на экране монитора — голливудский красавец: глаза горят, челюсть вперёд, голос раскатом — почтенные лета только добавляли значительности. Не знаю, кстате ли комплекс Наполеона, но он был — рулящим, направляющим, определяющим путь. Жизни в нём было с избытком.

Получилось так, что Шаповалов стал одним из немногих, говорящих мне «на», а не «дай», и выступил с инициативой стать моим культурным героем.

«Вячеслав Иванович» и «Вера Владимировна» были отброшены, хотя на «ты» мы так и не перешли. Слава решил, что я должна стать доктором наук, и развил зверскую активность. Он рычал, ревел, требовал отчёта, ежедневно звонил, полыхал и повелевал. Я с перепугу написала план диссертации, который он тут же и зарубил. Из поверхностных фейсбучных знакомцев он превратился в старого друга, который точно знает, что мне необходимо и как этого достичь. Отстал он от меня только весной 21-го года, устало сказав: «Я понял, вам это не нужно...» Другой не понял бы, разумеется!

Узнав марку нашей машины, Слава вознамерился её улучшить — рено чем-то его не устроил. Немедленно сочинил гениальный план обретения более породистого автомобиля. Таких людей мой отец, явно наслаждаясь игрой слов с названием племени индейцев, называл *деловарами*. Я поняла, что попала. И познакомила его с мужем. Сергей вежливо поулыбался, Слава как-то бледновато ответил тем же, и мы счастливо остались при рено, после чего они общались в скайпе уже через мою голову.

В Шаповалове на удивление органично уживались кураж учёного, казачья удаль и хитринка куркуля. Не счесть его степных историй с машинами, поломавшимися и застрявшими на полном безлюдье, лошадьми, у которых вдруг на скаку портился характер (с печальными последствиями для седока), девушками-практикантками, подобранными в каких-то оврагах. Сюжеты про что-то удачно купленное и ещё более удачно проданное (кажется, дело касалось земли). Это не были типично мужские байки, и главный герой не всегда выступал орлом, но за каждым сюжетом ощущался ландшафт, которого я никогда не видела и вряд ли увижу. Слава явно гордился, что не принадлежит к карикатурному, широко распространённому типу филологов, не державших в руках ничего сложнее авторучки: он умел запрячь лошадь, справлялся

Калмыкова Вера Владимировна — поэт, филолог, искусствовед. Родилась в Москве в 1967 году. Окончила филологический факультет Тверского университета; кандидат филологических наук. Автор статей и книг по искусству и литературоведению. Живёт в Москве.

с заглохшими двигателями, словом, владел всеми классическими мужскими навыками, ни на шаг не отставал от предков, русско-украинских переселенцев в Азию, и хранил семейные предания как драгоценность. И писал о них в «Вечернем звоне»:

Господи благослови
алеет восток смуглеет восторг далёко где-то исток
кипящий поток надежды плоток детей на брочке с пяток
чуждого неба яростный день облака лоскуток
крутой Кегень обрывов кремень жри с голодухи ремень
чуждого дела горький итог империи дымный чертог...

Чего в Славе не было ни на полволоска, так это киплингианства, «бремени белого человека».

То же ощущение подлинности переживания вызывали его рассказы о немногих встречах с Михаилом Леоновичем Гаспаровым, о котором он написал мемуар.

Параллельно с моим диссертационным сюжетом шла история игровая. Слава был великим мастером афоризма и экспромта. «Когда не хочется ничего делать, дедлайны падают, как кошки с потолка...» Кошек он терпеть не мог, собак уважал, рассказывал про свою белоснежную алабайку. Советовал, как собак воспитывать (у нас дворняги с алабайским оттенком), намекал, что наши псы — так, недоразумение, требовал, чтобы я немедленно и навсегда согнала их с кровати и отправила во двор, в будку. Бывал грубоват, я морщилась... Но и сочувствовать Слава умел. В минуту, злую для семьи, я написала, оправдываясь за молчание: «Надо просто немножко подождать, пока я выползу из-под глыб». Ответ: «Вы становитесь (видимо, в очередной раз) сизифствующей на этом склоне...»

От его книг стихов «Евроазис» и «Чужой алтарь» я обомлела. Пару недель беспрерывно читала вслух домашним, муж пожимал плечами: «Ну чего ты хочешь, гениальный поэт». Мол, издержки общения следует принять как довесок к гениальности. Интересно, что позже в том же мемуаре о Гаспарове я прочитала: «...Профессор Михаил Александрович Рудов со свойственным ему острым юмором сказал как-то: “Ну, подумаешь, Гаспаров... Обыкновенный гений. — И через несколько секунд, понизив голос, повторил с неуловимо иной, берущей за сердце интонацией: — *Гений...*”»

Дух захватывает от шаповаловских стихов.

подражанье мавзолею торг из серых плит
вспомню вздрогну пожалею вновь перрон закрыт
череда полей немая облаков узор
рельс эвклидова прямая искривлённый взор
чуждой страсти отблеск ртутный в мёрзлой глине клад
ржавый привкус неприютный липкий мёртвый взгляд

Это из «Фрунзе. Привокзальная ода». Знаков препинания нет, но, читая, всякий раз слышу, как медленно и неуклонно повышается тон, нарастает темп, и под конец внутри меня почти камнепад:

отольётся кровь победы дети прорастут
и заполнит все пробелы время страшный суд
звёзд далёких свет сигнальный поворот руля
отблеск северных сияний вечного кремля

И после этого вдруг напряжение обрушивается, и почти шёпотом:

а пока что тихо шепчет Богу аз воздам
дом бездомных отошедших
фрунзенский вокзал

Это только один пример из «Евроазиса», а сколько там стихов такого уровня, и то же в книге «Чужой алтарь»! Пружинно сжатые, энергетические сгустки, и при чтении возникает физическое ощущение опасности. Сразу захотелось самой прожить и *присвоить*, то есть написать статью. Сказано — сделано: два текста вышли, в «Дружбе народов» и в «Зинзивере». Слава наговорил *войну и мир* комплиментов и захотел за эти рецензии... заплатить. Вот ещё: сударыни со своих денег не берут. Поныв некоторое время, он отстал; но тема возникла вновь после выхода в 2021 году в «Русском Гулливере» его книги «Безымянное имя». Мне пришлось вплотную заниматься этим томом, который Шаповалов замыслил как последний; он и оказался последним. Тема оплаты — из разговора в разговор — достигла крещендо... и последовала расплата: я запретила Славе звонить. Спустя два месяца он всё же решился набрать мой номер.

Меня не интересовало и не беспокоило, какое у кого финансовое положение, а вот что у меня друг — *манасчи*, побуждало хвастаться, хотя нечасто выпадал случай.

Манасчи — это переводчик «Манаса», кыргызского народного эпоса. В национальной культуре аксиома: переводить «Манас» можно только с разрешения главного героя. Как это, спросите? Пусть расскажет сам Шаповалов:

«... Мне <...> поручено переводить фрагмент из трилогии “Манас”. Взял я, как сейчас помню, оригинал, взял подстрочник, сел и — ни слова! Обычно я работаю легко, приходилось порой ежедневно выдавать переводы на гора — и не по “сорок стихотворных строк” (чему научал меня наставник Семён Израилевич Липкин <...>). Экстремально бывало и по шесть сотен этих самых ежедневных переводческих строк, что уж... греха таить. Но тут — как заколдовали. <...> Я каждый день подходил к столу с надеждой. Всё было напрасно. Как результат, конечно же, довёл я себя до не самого стабильного состояния».

И вот однажды ночью мне приснилось, будто я беседую с какой-то козинцевски-гамлетовской нематериальной глыбой, источающей неприязнь, враждебность, и понимаю, что это и есть герой Манас. С обидой говорю ему, что у меня проблемы с переводом поэмы о нём. И вроде бы мне глыба эта весьма не приветливо отвечает что-то вроде “Отвяжись!”, и мне становится легче. Просыпаюсь абсолютно успокоенный, сажусь за работу — и текст пошёл!

Повторяю: это было на самом деле, думайте что хотите».

Только представьте, по теории пяти рукопожатий меня от *Манаса* отделяет лишь одно звено. Вот такие у меня знакомые, да-да!

Кстати, желание *присвоить* — или, если угодно, пропустить через себя — чужую поэзию посредством какого-нибудь действия с нею тоже было свойственно Шаповалову: он опубликовал мою поэму о протопопе Аввакуме и его единомышленниках (заглавие «Рождество слова» принадлежит Славе) в альманахе «Литературный Кыргызстан». Правил текст долго, тонко, с пониманием, я многое приняла, но в какой-то момент Слава начал превращать мой текст в свой, о чём я ему и сообщила. У меня фигурирует существительное «справа» в том значении, в котором употреблялось в XVII веке, — как церковная институция, ведавшая редактированием богослужебных текстов. Вот он и отыграл финальную партию: «По-моему, дальнейшая *справа* — уже слева...»

Взаимная работа со стихами очень много дала мне. Забавно, что своих *учителей* в поэзии я нашла в пору почтенной зрелости, ими оказались Вячеслав Шаповалов и Максим Калинин.

Воспоминания Шаповалова, опубликованные в «Дружбе народов» (2015, № 9), где поэт печатался более двадцати лет, имеют некоторое продолжение.

«Прошло, как водится, десятка два лет — всего-то».

И принял участие в одном большом телевизионном цикле об эпосе “Манас”. И читал отрывки из своей поэмы “Рождение манасчи”. И рассказал об этом самом эпизоде».

о встрече с пугающим собеседником. Понятно, да? Я по телевизору подробно рассказал народу моей страны, как ко мне ночью явился Манас, etc...

Спустя некоторое время я заметил, что на меня многие стали внимательно поглядывать на улице. Стали здороваться незнакомые старики-аксакалы. Молодёжь в нашем дворе поспешно подбирала окурки, когда я там появлялся. Какие-то молодые люди, таксисты, владельцы авто стали активно предлагать бесплатно довезти меня до университета. Студенты умолкали, когда я шёл по коридору...

Оказалось, эпизод с моей поэмой о сказителе и, главное, рассказ о том, как я, профессор Шаповалов, лично общался ночью с героем Манасом — да! — не ушёл в архив, телевизионщики его сохранили и потом это место из передачи дополнительно повторяли на утреннем экране месяца два в 8 часов утра, когда люди собираются на работу!

Тогда-то я с ужасом понял: вся так называемая антирелигиозная пропаганда и все накопленные человечеством знания о природе мироздания — полная чушь. И учи ты современников хоть в пяти университетах, у них в голове — те же мифологемы, что и триста лет тому назад...»

В мемуарах сюжет изложен с изрядной долей самоиронии.

Последнее письмо, присланное мне 9 июля 2022 года, подписано: Калпакчи-тегин Иван-уулу Исламбек. Это была реакция на моё сообщение, что последний экземпляр его книги подарен поэту Стефании Даниловой, и она в восторге. Текст был кратким, но вполне боевым, мол, не ведитесь на навьи чары, добивайтесь и требуйте своего. Больше ни писем, ни звонков. Ровно через две недели, 23-го июля, Слава умер.

Шаповалову было действительно важно, что на родине, в Бишкеке, он окружён почётом и уважением на государственном уровне. Что-то звучало в разговоре насчёт «при появлении ковровую дорожку расстилают». Какие-то хрестоматийные черты азиатского вельможи у него имелись. Однажды прислал свою фотографию при всех регалиях с такой подписью: «Р. ван Рейн. Ночной дозор (фрагмент). Холст, пепел, алмаз».

Регалий, между прочим, было много, и научно-административная карьера шла более чем успешно. Под письмами стояло неизменное: «Dr.Prof. Vyacheslav I. Shapovalov // Thescientific&Education Centre “Translation” // Kyrgyz-RussianSlavonicUniversity // Bishkek, Kyrgyzstan» и три телефонных номера.

Вячеслав Шаповалов удостоен множества государственных и общественных наград и литературных премий как в Кыргызстане, так и в России. В его комнате висела фотография: Путин вручает Шаповалову орден. Причём висела так, что непременно попадала на экран при беседах по видеосвязи. В сопроводительных текстах к наградам постоянно отмечался вклад Шаповалова в изучение и взаимообогащение национальных культур и распространение русского языка. Руководящие должности, большие возможности. Орёл, как есть орёл!..

Слава мечтал переехать к одной из дочерей в Подмосковье, купить какой-то участок, построить дом... Мы это долго обсуждали. В результате я его отговорила. Потому что в Бишкеке ковры расстилают, а здесь? Обычный профессор на покое. Не больше. Семья разбросана по всему миру, учеников нет, почитателей поэзии тоже. Да, по семье он тосковал, радовался, когда все собирались вместе. Грустно одному...

Россия плохо знает своих поэтов, а некоторых и вовсе не знает, особенно если те живут далеко от столицы. Мне всё больше кажется, что наш полный информации мир какой-то плоский, в нём высокое не отличают от посредственного, планка снижается, различия нивелируются. Включив статью о Вячеславе Шаповалове в книгу «Творцы речей недосказанных», я очень надеялась расширить круг его читателей. Отчасти получилось: знакомые рассказывают, что после книги начинают читать неизвестных ранее поэтов. Мне хотелось бы этого для Славы. Ведь и Семён Липкин, и Марина Кудимова, и многие другие высоко его ценили, хотя русского читателя

у него почти нет. И предложение Вадима Месяца выпустить книгу избранных стихотворений — своего рода признание, за что ему огромная благодарность.

Конечно, чувствуя Слава себя получше, я никогда не отговорила бы его от переезда. Но он всё хуже и хуже ходил, хотя ещё за год до смерти сидел за рулём своего белого мерседеса и готов был... хоть в космос. Но из Бишкека не двинулся, потому что врачи — даже на высоком государственном уровне — могут не всё, а запаса телесной прочности оставалось всё меньше и меньше.

Слава взахлёб говорил о других поэтах: Бахыте Кенжееве, Александре Ерёмченко, Алексее Цветкове, Ирине Евсе, Александре Кабанове. Открыл для меня прозаика Алексея Торка. Оценивал сегодняшнюю поэзию: «...Так многослойна русская поэзия (причём именно сейчас, не вчера и не завтра)». Кенжеева превозносил: «...В душу вошёл Бродский, равного которому во второй половине XX века и сегодня нет. Другой тоннель в небо пробил Кенжеев...» Невероятно дорожил дружбой с Сергеем Чуприниным и Галиной Климовой. Прислав мне произведения некоего поэта, победившего в некоем конкурсе, элегантно прокомментировал: «Хорошие стихи... Но стихи ли?..» Когда я высказалась о текстах со свойственной мне безапелляционностью, ответил: «Наши позиции в этом скучном вопросе совпадают. Меня интересует другое: как такие вещи... признаны лучшими русскими стихотворениями года (причём не кучкой лиц)».

Светское пожатие плечами, насмешливое недоумение — нормальная реакция, не принимать же в самом деле близко к сердцу. Так у большинства из нас. У Шаповалова иначе.

Было нечто такое, что вызывало у него боль на уровне пыточной — это ситуация с русским языком в Кыргызстане. Пресловутая «культура отмены» начала работать на его родине примерно тогда же, когда и на Украине. Не с таким трагическим накалом, слава Богу! — более *вегетариански*. И всё же. Когда Шаповалов писал: «Я зампред докторского диссертационного совета, единственный европеец в этом глубоком одноязычном и прочее микромире...» — изящество формулировки едва прикрывало личную драму, суть которой можно понять только после народной трагедии февраля 2022-го.

На самом деле удивительно: поэт переводит фрагмент из «Манаса» и другие произведения с тюркских языков на русский, ему вручают высокие государственные награды, но при этом «отменяют» тот самый язык, на который переводится национальная поэзия, то есть ломают ключ от двери в мировую культуру! Как это понять? В моей бедной голове не помещается, а ведь поэт и переводчик Вячеслав Шаповалов в этом жил.

Тем важнее оказалось издание книги «Безымянное имя». Название мы искали долго, перебрали с десятков вариантов. Кому-то оно показалось непонятным, даже нелепым. Почему, мол, никто в Бишкеке не подсказал уважаемому профессору Шаповалову, что так называть книгу нельзя? Но раздавались и другие голоса — одобрения и даже восхищения. Неизвестный читатель отметил крутой замес из Тибуллы, Проперция, Руми, Хафиза, Джамии и Ветхого Завета. Удивился, что автор объединяет давешних пророков и нынешних вершителей судеб, не делит время на прошлое, текущее и будущее, поскольку знает Истину: время едино, и то, что называют грядущим, уже случилось и вернулось в настоящее, а вчерашнее никуда не ушло. Бесконечно играя образами, словами, рифмами, цитатами, поэт то ли думает, то ли безумствует, но не ради самой игры или эффектного впечатления, а ради всё той же Истины...

Заглавие-оксюморон — наилучший способ охарактеризовать культурную ситуацию, в которой жил Вячеслав Шаповалов: с одной стороны, вроде всё есть, а с другой — за что ни схватишься, всё мираж. За русский язык награждают, но русский язык отменяют. И то и другое одними и теми же руками в один и тот же момент!

Шаповалов никогда не говорил, что хотел бы вернуть СССР; но вот постимперскую культурную ситуацию, когда политические инструменты уже не работают, а центристремительное накопление духовных богатств происходит с прежней, если не с большей интенсивностью, желал бы продлить на поколения своих правнуков-праправнуков. Потому и многолетний украинский языковой коллапс для него был личной болью: русскую речь он готов был защищать любой ценой...

В последние месяцы Слава многое мне переслал, но пользоваться материалами чужой переписки, конечно, не стану. Он не принимал кровопролитие, но *русский язык был для него живым существом*, и за него можно было пожертвовать дружескими отношениями, даже очень дорогими. Ему угрожали репутационными потерями, нерукопожатностью. Слава не то чтобы этого боялся, но печалился. Понять можно: почти изолирован, болен, малоподвижен. Старался что-то как-то смягчать... Только оппоненты не принимали этих попыток. Не знаю, насколько удавалось его утешить: мне-то все эти страсти вокруг нерукопожатности видятся мыльным пузырьком. На сей раз мыло с кровью, а кровь людская — не водица, и льётся она — годы. Умеешь остановить, знаешь как — сделай, а нет — молчи, не устраивай вокруг себя персональную войнушку. И любой, кто об этой самой нерукопожатности пишет, скорее о себе, любимом, печётся, себя ощущая центром принятия решений. *Каждый выбирает по себе...* — это ведь принцип демократии в культуре, нет?

Шаповалов был государственным, более того — имперцем, точнее, постимперцем, если смотреть в культурном плане, причём центром не считались ни Москва, ни дореволюционный Петербург. Как и многие его сверстники, он ощущал себя *римлянином*, и глагол *времён*, *металла звон* в его разговорах и стихах шли прямым из Рима. В «Безымянном имени» есть стихотворение «Русский язык». Он *безымянный, бескрайний, безгласный, умирающий...* В первой части текста о языке говорится со стороны, в третьем лице, это объект наблюдения, рефлексии. Во второй части появляется обращение на «ты» — это уже собеседник:

Ты лишь совоплотил бескорыстно
тишь молитвы и времени суд,
хмель атак, упоение риска,
отпущенье прощальных минут...

Вспору вспомнить Тургенева («ты один мне») и Ахматову («и мы сохраним тебя»). Нечасты случаи персонификации языка в русской литературе при всей её обращённости на речь как предмет эстетики, а не только способ создавать прекрасное. И возникают они в ситуациях крайних, патовых для пишущих...

А ведь Шаповалов так и жил — на краю, на грани, при всём своём внешнем благополучии, респектабельности и признанности. Жил так, как *не хотел бы* жить... Я далека от мысли, что события последних месяцев ускорили его кончину, поскольку с 2018 года состояние его резко ухудшилось. Но он был бы не столь одинок.

Надеюсь, в Бишкеке Вячеслава Ивановича Шаповалова проводили так, как ему понравилось бы: торжественно, пышно, многолюдно, с регалиями и перечислением заслуг. Внешняя сторона была для него очень важна.

Слава прислал мне стихотворение, одно из последних, написанное в полемическом задоре как ответ на произведение поэта, нами обоими чтимого, но придерживающегося иного взгляда на мир. Вот комментарий: «Вера, я очень прошу этот текст никому не показывать, он родился, ясное дело, как неизбежная реакция на стихотворение N. У меня вопрос: стишок получился ли? и можно его публиковать без риска, что я останусь один?»

Кажется, он показал стихотворение не только мне. Я же честно написала, что узнаваемые отсылки к чужому тексту хороши сиюминутно, а поэзия претендует всё-таки на более долгую жизнь... Словом, родился второй вариант, и его публикацию Вячеслав Шаповалов мне не запрещал. Вот это стихотворение.

Скифосложение

Сходились друг с другом берегами безымянной реки —
мечи и стрелы, толковища свитков, музыки и языки,
родные идола вперемешку с чужими рабами —
и сосчитаны общими памятными путями
великих шёлковых вёрст улыбочивые клыки.

Не считали потерянной крови — и, наверное, зря,
до сих пор летают над тундрами чёрные лагеря,
разноязыкие звери разуму звёзд причастны —
ну, а мы всё те же и будто бы так же несчастны:
это наших незваных свобод неисчисленная заря.

Мы всё те же, и у каждого — свой холокост,
наших утрат на земле — что в небе забытых звёзд,
имена любимых раздали мы всей планете,
и на каждом людском континенте — нас забывшие дети
строят меж римом и крымом который уж дивный мост.

Всюду в глиняных чашах плещется медный мотив,
человечьи девы поют, ногами коней охватив,
популярны беседки, где в позолоченной клетке
соловей ли, ворона на каждой ветке
вещает на скифской мове о том, каков этот скиф.

Просторна наша тюрьма, безлюдна наша зима.
На ура пандемии имеют нас задарма.
Ядерные самородки звериного стиля —
печальны наши виденья, бессмысленны наши усилия,
в лесах и библейских песках пожаров зримая тьма.

Из книги «Безымянное имя»

Евроазис

...Больше нет на свете варваров.

К.Кавафис

отчего смуглеют лики у наших милых
глаз разрез у младенцев наших души их прячет
проблуждав в хромосомах истинных или мнимых
мы — проект завершённый что в сущности не был начат

что нам варвары — были / не были исчезли / явились
стены города облепили — но грады наши бесстенны
если путь кочевий от липких веков извилист
если мир таков что губительны перемены

иппокрена почто нам коли есть колодец верблюжий
что заплёван ложью беспамятных воспоминаний
и когда неумытое небо нависает над лужей
чем мертвее сосуды тем миелопатия спинальной

полегло былое — уж как помогли испытанья
поколенья в пределы отчие не возвратятся
пришлых родина встретит забвенная испитая —
не то череп в окладе не то оскал святотатства

Век безъязычья

Памяти Льва Шеймана

Вот и скончался один, верен и истов,
весь — от родин до седин — из пушкинистов,
вот и шагнул на покой, с верой в бессмертье,
левой усталой рукой грея предсердье,
высоколобий мудрец в шапочке чёрной,
в хитрую дуду игрец, бедный учёный,
жрец, одинокий старик из чародеев,
из книгоцеев, из книг, из иудеев.

Вот и вперил он во тьму старое око,
с несоразмерным ему даром пророка,
даром, что так он скрывал от недоумков,
даром, что прятал в провал, тьму переулков.
Жить не соскучась едва, без многоточья,
сдал он в канун Рождества все полномочья,
соединя в судьбе твёрдость и гибкость,
удиня в себе Тору и Библиос.

Вот и не переборол хвори и боли —
и ничего не обрёл в смертной юдоли.
Мудрости солнечный звон — тоже обитель:
нищий, творец, робинзон, нравоучитель!
Книжник в разлуке зачах с далью и ширью —
у перемирья в глазах блеск двоemiрья,
где над кострами из книг в детском обличье
учит язычник Язык — в век безъязычья.

Прежде бывало легко и высоко с ним,
виделось так далеко по високосным,
да и по прочим годам, памятным датам,
Слова летучим следам, снам бесноватым.
Это запомните, мы, кто здесь остался,
кто от сумы и тюрьмы не зарекался,
кто не боится сейчас светлого завтра,
кто выбегает встречать Год Динозавра.

Будут покровы чисты смертного ложа —
мудрости и доброты тяжкая ноша,
где остаётся печать чести и долга,
где остаётся молчать книжная полка,
где ни земли, ни воды, Божия духа,
ни шестикрылой звезды — только разруха,
только уход на иглу, мимо знаменья —
в потустороннюю мглу,
в холод,
в забвеньё.

Максим Гуреев

«Могилы моей не ищите...»

Главы из книги о Григории Распутине

Глава 4

На Пряжку, на зады амбаров бывшего Сального буяна приходили в установленное время и терпеливо ждали, пока полусонный человек в брезентовом фартуке не вынесет два ведра с требухой и не опрокинет их в жестяной жёлоб, который пролегал вдоль кирпичной стены колбасной фабрики и спускался к реке.

Время тянулось мучительно медленно. Многие от нетерпения и голода начинали подвывать. Царапали когтями ледяную корку на бруствере, которым была обнесена деревянная рампа, куда, как на сцену, и выходил человек в фартуке.

Первыми, заслышав лязг стальной задвижки, вздрагивали собаки охотничьих пород, устремляли взгляд на двустворчатую дверь, выкрашенную в синий цвет, напрягались, и их напряжение передавалось всем остальным. Нарастало, множилось, разбухало. Всё, что свершалось после этого, происходило в каком-то диком полусне: ведра с грохотом бились о мятый жёлоб, выпуская из себя внутренности, и тут же все срывались с мест, бросались делить добычу, поднимая визг и лай, разумеется, завязывая драки и грызню.

Человек меж тем зевал, вытирал ладони о фартук, крестил рот и закуривал, лениво наблюдая за тем, как сбежавшиеся со всей округи бездомные собаки — матёрые и молодые, породистые и дворняги, — перемазавшись в крови, урвав куски потрохов или то, что от них осталось, как угорелые носились по двору, пытаясь спастись от преследования, сбивались в стаи, образовывали кучу малу, с воем катаясь по земле. Довольно быстро, впрочем, находил это зрелище утомительным и однообразным, а посему, докурив, брал пустые ведра и, не оглядываясь, уходил. Знал, что через несколько дней, когда он опять выйдет сюда, чтобы выбросить требуху, эта сцена повторится снова.

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссёр документального кино, снял более семидесяти лент. Автор множества книг, печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Дважды лауреат премии «ДН». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в журнале — 2023, № 3.

После того, как всё заканчивалось, собаки разбрелись по своим углам. Кто мчался на Обводный, кто пропадал во дворах на Лиговке, а кто убежал на Мойку.

Большая лохматая, добродушного вида псина, с порванным, видимо, в драке, ухом обитала в котельной при Максимилиановской лечебнице. Когда возвращалась поздно, ворота тут уже были закрыты и приходилось ночевать на улице, где придётся.

Так вышло и на этот раз. После Сального буяна она долго бродила по городу, потому что ещё знала места на Сенной и рядом с Николаевским вокзалом, где можно было столоваться без риска подвергнуться нападению со стороны сородичей или быть избитой пьяными прохожими, ямщиками ли.

Постояла какое-то время перед запертыми воротами на пронизывающем ветру, безуспешно пытаясь уловить знакомые тёплые запахи больничной столовой, и пошла в сторону полосатой караульной будки, которую приглядела ещё в начале зимы, в ней уже ночевала несколько раз, пользуясь добротой её хозяина — человека, как казалось собаке, похожего на эту самую полосатую будку, — перечёркнутого, переполосованного портупеей, башлыком и ярким револьверным шнуром.

Войти внутрь сразу не решилась.

Села рядом на снег, зевнула и стала принохиваться к местному духу, что хоть и был разорван на части и разогнан по околотку сквозняком, метавшимся, как безумный, между домами, покалывал ноздри то терпким дыханием табака, то запахами сыромятной кожи и ружейного масла, то вдруг накрывал тяжёлым букетом отсыревшей шерстяной ткани. Дух слабо переливался под порывами ветра, но оставался на месте, был неподвижен, из чего собака сделала вывод, что в будке никого нет.

Осмотрелась по сторонам, наострив уши, облизнулась, поднялась с земли, сделала несколько нерешительных осторожных шагов к деревянному сооружению и заглянула внутрь.

Нет, она не ошиблась, было пусто. Недолго думая, тут же свернулась на полу клубком, спрятав морду в лапы и хвост.

В наступившей темноте сразу стало тихо, и собака подумала, будто спит с открытыми глазами, потому как окружала её ровно такая же темнота, какая наступала, если она глаза закрывала, и ей снился один и тот же сон про то, как она бежит по огромной пустой улице, в конце которой возвышается огромный шпиль, упирающийся в небо.

Собака бежит и видит, как по небу медленно плывут существа без лап, ушей и шерсти, но у них есть хвосты, которыми они виляют, чтобы двигаться вперёд. Собака улыбается, ведь она не чувствует никакой опасности от этих существ, она уже видела их раньше лежащими на берегу большой воды, где они ещё несколько мгновений назад плескались.

Над огромной пустой улицей звучат раскаты грома, и неспешно плывущие по небу существа превращаются в грозовые облака, начинается дождь.

Собака высовывает язык и пьёт воду, льющуюся на неё с неба. Делает это с удовольствием, ведь она и улыбается, и утоляет жажду одновременно.

Раскаты грома сотрясают воздух над самой её головой, и собака прижимает уши. Но это не чувство страха, скорее, — изумления, что неизвестно откуда взявшийся звук подобрался к ней так близко и она чувствует его своей спиной, будто бы кто-то сверху толкает ногой.

И снова раскат.

И снова толчок...

Собака выглянула из-под лап — сверху-вниз на неё смотрел человек, напоминавший будку, в которой она сейчас лежала.

Человек свирепо размахивал руками, открывал рот, издавая громкие звуки, пихал сапогом. Он высился до неба, из него на собаку продолжал лить дождь, по которому проплывали облака, похожие на существ без лап, ушей и шерсти. Человек-будка негодовал, но настоящей угрозы от него почему-то не исходило. Собаке даже показалось, что он боится её больше, чем она его.

Нет, не показалось! Совсем не показалось! Она была в этом уверена, а потому только и вильнула хвостом в ответ, зевнула, в желудке у неё заурчало, опустила морду на лапы и закрыла глаза.

С места она так и не сдвинулась.

* * *

На подъезде к Варшавскому вокзалу поручик Сухотин пришёл в себя. Его обдало ледяным воздухом, и он инстинктивно завернулся в шубу. Поднятый воротник навис над ним подворотней, по которой он только что убежал от расхристанного, полураздетого бородатого мужика, что гнался за ним несколько кварталов с самой Мойки, — видимо, учинил побег из Николаевской больницы для душевнобольных, злодей.

— Извольте ответить, ваше благородие, — кричал мужик, размахивая то ли кинжалом, то ли иерейским подсвечником, — какая вода святее — Крещенская или Богоявленская?!

Сергей Михайлович ускорил шаг, старался не оглядываться, перешёл на бег, но преследователь не отставал, и казалось, что хриплый скрипучий голос его всё приближался, вырастал за спиной.

— Не узнаете меня, ваше благородие? — не унимался мужик, чьё горячее смрадное дыхание заполняло подворотню. — Григорий я, шубейку вы у меня подтибрили, и вот теперь, изволите видеть, мёрзну вельми, а зимы-то нынче студёные.

— Ты меня, братец, с кем-то перепутал, — цедил сквозь губы Сухотин. — Поди прочь.

— Никак не можно перепутать, ваше благородие, как же мне шубейку-то свою и не признать. Украли, ох, украли, и Бог тому свидетель, а ведь сказано — не укради! — На этих словах мужик настигал свою жертву, хватал её за воротник и валил на землю. Теперь Сергей Михайлович наверняка знал, что в правой руке безумца зажат кинжал, он видел его, это был не подсвечник, не дикий или трикий никакой, а именно кинжал, который взмывал в воздух и, описав дугу, падал вниз, кромсая шубу.

Первым в темноту проходного двора отлетал изуродованный воротник...

Сухотин опустил воротник шубы, и видение сразу исчезло.

Съехав с моста через Обводный, автомобиль устремился к железнодорожным путям, забитым санитарными эшелонами. Миновал привокзальные ворота, угольную биржу, подсвеченную газокалильными лампами вереницу пакгаузов в готическом стиле и остановился рядом с паровозным депо, внутри горел свет, отчего оно напоминало огромный затёртый льдами дредноут, из недр которого доносился шум работающих механизмов.

Дмитрий Павлович (великий князь Дмитрий Павлович Романов. — *Прим. ред.*) предпочёл остаться в машине, и к вагону головного отряда Красного Креста, стоявшего на третьем пути, Сергей Михайлович и Станислав Лазоверт отправились пешком.

Шли в голубоватой полутьме узкого ущелья, образованного бесконечными железнодорожными составами.

Тут терпко пахло углём и креозотом.

Ветер меж тем стих совершенно, и пошёл мелкий, искрящийся в свете далёких локомотивных огней снег.

Пришлось долго обходить только что пришедший с фронта эшелон, стоявший на втором пути, и когда, наконец, добрались до санитарного вагона, гул станков, что работали в депо, стих окончательно.

Перед приступкой тамбура в свете керосиновой лампы уныло топтался часовой.

При виде Сухотина и Лазоверта он насторожённо вздрогнул и поправил висевшую на плече винтовку, однако, опознав Станислава Сергеевича, молодецкато вытянулся и отдал честь.

Поднялись в вагон.

Но это был совсем другой вагон, не тот, в котором Серёжа Сухотин вместе с мачехой и её отцом ехали в Москву зимой 1908 года.

Тогда был вагон третьего класса, переполненный крестьянами, батрачками в перелицованных кацавейках с намотанными поверх платками да рабочими в замасленных бушлатах. Лев Николаевич сидел у окна и мрачно смотрел то ли на несущийся мимо него за стеклом пейзаж, то ли на отражённых в этом же стекле своих попутчиков, из которых кто спал, закрыв лицо шапкой или своими заскоружеными, как корни деревьев, ладонями, кто, подперев голову руками, в отупении смотрел перед собой в одну точку, а кто — негромко переговаривался с соседом.

Сергей Михайлович, кажется, на всю жизнь запомнил Толстого, сидевшего в этом вонючем, пропахшем махоркой, углем и потом вагоне, насквозь — от тамбура до тамбура — продуваемом жгучим сквозняком, с ужасом осознавал, что граф ничем не выделялся из этой разношёрстной массы, был таким же бесприютным пассажиром, как эти мужики и бабы. Все они ехали по каким-то своим, только им ведомым делам в поисках пропитания или заработка, скрывались от кого-то или бежали от самих себя. А Лев Николаевич, напоминавший старую, смертельно уставшую, нахохлившуюся птицу, мимо которой эти люди проходили с полным безразличием, остро ощущал, что, хотя он теперь и едет вместе с ними в одном вагоне, но бесконечно далёк, словно бы обитают они на разных планетах. Находил всю полноту собственной жизни совершенно не способной вместить в себя того, говоря языком завсегдаев салона Анны Павловны Шерер, *mode de vie* (образа жизни), который вели эти мужики, вовсе не задумываясь над тем, как он живёт и зачем. Это были своего рода отчаянная безбытность и совершенно искреннее, детское упование на то, что всё совершается по воле Божией, а всякое своеволие греховно и дерзостно.

Серёжа наблюдал за тем, как Татьяна Львовна пыталась послужить своему отцу, беспокоилась о его самочувствии и настроении, но всякий раз на вопросы дочери Лев Николаевич отвечал односложно и раздражённо, было видно, что ему претит это чрезмерное внимание к собственной персоне. Казалось, он стесняется своих случайных попутчиков, вернее, того, что они подумают о нём, рано или поздно поймут, что он им не ровня, что просто ради забавы или из жалости к ним едет в этом убогом, прокуренном и грязном вагоне.

Когда же приехали в Москву и все стали выходить из вагона, то, проходя мимо Толстого, кланялись ему и прощались, толкаясь несуразно, ломая шапки, покашливая для солидности, пятились, наступая на носки и пятки. Серёже стало до слёз жаль отца мачехи, который во всём этом сумбуре сжался от стыда и одновременно от злости на самого себя. Ведь не мог же он не понимать, в конце концов, что этим всё и должно было завершиться.

Когда же вагон опустел совсем, Толстой тяжело встал со своего места и, заложив руки за спину, мрачно побрёл к выходу, где его уже ожидали встречающие.

Он был как Иона во чреве кита, а ещё его укачало и потому тошнило...

Санитарный вагон, входивший в состав головного железнодорожного отряда Красного Креста Владимира Митрофановича Пуришкевича, выглядел совсем по-другому.

Господа Сухотин и Лазоверт вошли в просторное купе, более напоминавшее кабинет, к которому примыкали спальня и туалетная комната.

Бронзовые электрические светильники выхватывали из полумрака диван, занимавший всю торцевую стену, декорированную полосатыми штофными обоями, письменный стол в межоконном пространстве, ширму шинуазри, что загораживала проход в спальню, и чугунную в форме китайского самовара печь, гудевшую утробно.

В купе было жарко натоплено.

Станислав Сергеевич помог поручику стащить шубу и неловко орудя складным ножом принялся отрывать от неё воротник. Это оказалось непростой задачей. Лазоверт громко сопел, ругался вполголоса, яростно вонзая лезвие в мастерски сработанные скорняком швы, и когда, наконец, дело было сделано, распахнул топку и запихнул туда свою добычу. Белые хлопья густого вонючего дыма почти тотчас же полезли из печного поддува, и резкий запах палёной шерсти заполнил купе.

Сергей Михайлович подумал, что именно так — бесформенно, беспросветно, прогоркло и выглядит дух шубы Распутина, которая теперь валялась у него под ногами, разметав рукава в разные стороны и вывернув полы, напоминая обезглавленного человека.

Лазоверт проталкивал воротник кочергой в самое горнило, торопился, зверел, видя, как печь захлёбывается в дыму, выплёвывая наружу оранжевые сполохи-стрелы пламени, как бы метя ими в него, норовя обжечь или даже убить.

«Вот ведь как, не сдаётся дух Григория Ефимовича», — усмехнулся про себя Сухотин.

— Что же вы стоите, Сергей Михайлович! — В голосе Лазоверта раздражение. — Режьте ей рукава! — И протянул Сухотину свой складной нож.

А тут шуба почему-то не сопротивлялась (выдохлась? изнемогла?), и потому швы расходились споро, а узлы, которые не брало лезвие, он перегрызал.

Печь-самовар вновь поперхнулась дымом, превратившись в огромное кадило. Его было и не разглядеть в клубах ладана.

Лазоверт закашлялся, открыл окно. Холодный воздух вместе с отдалёнными паровозными гудками и переключкой путевых обходчиков ворвался в купе, будто ждал. Шторы задвигались на сквозняке, затрепетали, и Сухотину показалось, что состав бесшумно тронулся с места, медленно поплыл вдоль бесконечной шеренги только что прибывших с фронта санитарных эшелонов. Из них доносились то стоны, то истошные крики, то громкие голоса отдающих приказание офицеров. Стук колёс, свистки локомотива были почему-то неразличимы, разве что пол покачивался под ногами, да позвякивали развешенные на стенах бронзовые светильники, и мигал свет...

Снег усилился.

Дмитрий Павлович сидел за рулём автомобиля и наблюдал, как железнодорожные пути, эшелоны, крыши пакгаузов и мастерских постепенно укрывает тяжёлой комковатой залипухой, которую утром, чертыхаясь, будут разгребать дворники, проделывать в ней ходы, напоминающие траншеи на передовой линии обороны.

Всякий раз, оказываясь в подобной метели, он вспоминал ту ночь, проведённую в бильярдной с видом на Невский, когда решил покончить с собой.

Тогда за окном тоже бушевал снегопад.

Решился на этот шаг, находясь в полном отчаянии, потому как ощутил своё одиночество столь остро, что заболело сердце и перехватило дыхание. Будущее своё в ту минуту разглядел каким-то тусклым, словно бы вынутым из детства, давно миновавшего, и его уже было никогда не вернуть. «Будущее в прошлом» — от попытки осмыслить этот парадокс становилось не по себе. Выходило, что будущее есть выдумка, фантазия, к повседневной жизни не имеющая никакого отношения, и тебе потому нет в нём места.

Теперь Дмитрий Павлович уже не мог вспомнить, где он тогда раздобыл лекарства — просто высыпал на ладонь из склянок содержимое и глотал, не запивая, думал, что так всё закончится быстрее. Однако вместо обморока наступила отрыжка, а за ней — панический ужас, что самоубийство может не состояться, и всю оставшуюся жизнь придётся презирать себя за слабость и глупость, ловить на себе косые взгляды, слышать комментарии типа «мог бы воспользоваться револьвером, тогда бы уж наверняка».

Совершал какие-то беспомощные движения по комнате и вдруг увидел себя со стороны, — как он падает на пол и бьётся в конвульсиях, как цепляется за углы ковра и пытается ползти к двери. Но при всём этом наблюдал за собой безо всякой жалости, пребывал в полном равнодушии, как будто бы это был и не он вовсе. Окончательно лишился сил, терял сознание, а когда открывал глаза — видел перед собой испуганное, обезображенное гримасой страха лицо Феликса Юсупова: будто бы он смотрел на труп, который вдруг ожил.

«Vivo! Живой!» — хотелось кричать Дмитрию Павловичу, но его накрыла волна стыда, потому что всё пошло прахом и его попытка навсегда скрыть свою слабость обернулась её демонстрацией.

Феликс сидел рядом с ним на полу, раскачивался из стороны в сторону и, схватившись за голову, повторял как заведённый: «Зачем, зачем ты это сделал?»

Дмитрий впервые видел Юсупова таким, и ему стало жалко его, не себя — несчастного, растерзанного, полуживого, а его — Феликса, хотелось прижать к себе сильно, пожалеть, но не было на это сил.

А сейчас Дмитрий увидел, как из снежной привокзальной мглы выходят две фигуры, у одной из которых не было рук и головы, и направляются к автомобилю.

Уже после того, как переехали Обводный и двинулись в сторону Гороховой, выяснилось, что сжечь удалось только воротник и рукава шубы Григория Ефимовича, а остальное не влезло в печь, и Сухотину пришлось вновь натянуть её на себя, отчего ему сделалось нехорошо, потому как, по его словам, озверевший дух шубы Распутина якобы накинулся на него с новыми силами и страшно надругался над ним.

Сначала Сергей Михайлович метался и стонал, но вскоре задремал на заднем сиденье, и до дома № 64 по Гороховой улице доехали в полном молчании.

Остановились у ворот.

Поступить именно так попросил Феликс в том случае, если шубу не удастся уничтожить. Он долго объяснял, что подобным образом они создадут видимость, будто Распутин вернулся домой и пропал уже после того, как уехал автомобиль.

Дмитрию Павловичу подумалось тогда, что бедный Феликс начитался книг о Шерлоке Холмсе и Нате Пинкертоне и теперь бредит... несчастный.

Владимир Лидский

Мама, папа, детское

...Есть такой городок на западе Беларуси — Лида, он для меня — средоточие замыслов и смыслов; это моя прародина, — отсюда на уровне прадедушек-прабабушек вышли мои предки; сейчас Лида — один из центров Гродненщины, а в баснословные времена она была и не городом, а лишь местечком, где жили белорусы, поляки, евреи, украинцы и литовцы, — вообще-то, малая родина у меня не одна, — если говорить широко и пытаться осветить тему с размахом, таких родин у меня... раз, два, три... да, надо полагать, три, потому что кроме Москвы и Лиды есть ещё Кыргызстан, где я прожил без малого сорок лет — так, думаю я, у многих — у кого-то три, а у кого-то и больше, — всё зависит в таких случаях от степени любви и тепла к месту... главное, родина — не всегда город, село, местечко, где явился на свет, а земля, из которой вышел, которая тебя создала, воспитала или вскормила... ведь это люди, обстоятельства, быт... родился я в Москве, и Москва, конечно, кладёт печать, но если бы я просто родился и, не взяв ничего от Москвы, вырос, учился, работал, женился, карабкался по карьерной лестнице и, может быть, чего-то добившись в жизни, наконец помер, то стала бы столица для меня истинной родиной или осталась бесчувственной территорией, для которой нет ни тоски, ни воспоминаний? но ведь у меня к Москве много тоски и много воспоминаний; почему? — здесь была любовь и много глупых поступков, которых стыдился, много ошибок, которые хотел исправить... а как исправить? разве можно исправить? нельзя!.. а воспоминания... воспоминаний много, — закроешь глаза и видишь небо, в которое смотрел из коляски, — тогда не такие коляски были, как сейчас; нынче высокие, а тогда низенькие были, с длинной высокой ручкой, — тебя везут, ты смотришь: небо, облака, ветки деревьев, убегающие вдаль на фоне дневной сини, — как можно помнить небо, ежели тебе два месяца от роду? а вот же!.. мама с папой жили на Садово-Кудринской, дом 8/12, стена к стене с Домом-музеем Чехова, но про это дивное соседство я в ином месте расскажу, а вспомнил я столичную географию потому, что здесь — плюс-минус, разумеется, — папа посадил беременную маму на троллейбус и отправил в роддом имени Грауэрмана; папа куда-то торопился, опаздывал, нервничал, а мама, глядя на него из окна, горько плакала, ведь ей было обидно, что она едет одна и не в такси, а муж куда-то бежит, будто в свете имеются дела важнее её критически набухшего живота; своего автомобиля у папы, конечно, не было, денег на такси, я полагаю, тоже, а сотовые телефоны ещё не изобрели, поэтому вояж мамы в роддом и дальнейшее в нём пребывание вряд ли с позиций сегодняшнего дня можно называть комфортными... сидя в животе мамы, я слышал глухие, едва доносящиеся через окно троллейбуса звуки папиного голоса, и мамины всхлипы, и гудки машин, бодро несущихся по Садовому кольцу, и даже непостижимым образом прозревал неясный силуэт высотки на Площади Восстания... да, я видел и слышал, всё видел и всё слышал! а потом, родившись, внимал влетающим

в распахнутые настежь окна неясным песням, крикам и девичьему смеху... то был июль — а, может, август — пятьдесят седьмого года, и в столице кипел фестиваль молодёжи и студентов; я лежал рядом с мамой в тугих свивальниках, сосал мамину грудь и слышал, как мама опять плачет, — плакала она так тихо, что, кроме меня, её плач никто не слышал, — другие мамы были заняты своими детьми, их не привлекал фестиваль и законные песни, но мама... мама мечтала песен, — она была из бедной семьи, росла без родителей, без простых девических радостей, и потому всё, что происходило за стенами роддома, возбуждало её воображение, окрыляло мечтой и грёзой, она хотела туда, на улицу, в гущу веселья, общения и беззаботной игры, это же фестиваль! фестиваль, на котором можно было видеть настоящих иностранных гостей, ведь это сейчас жителями дальних стран нельзя удивить, ведь и они к нам ездят, и мы их радуем, а тогда яркая птица из-за границ нашей вполне себе закрытой отчизны была редкостью... о, фестиваль! мама видела только фото в газетах, которые дошли до неё много позже, — на них красовались чернокожие красавцы из Африки, прекрасные принцы из Латинской Америки, стройные голубоглазые европейцы; мама, хотя и любила папу, но вид экзотических гостей смущал её и заставлял биться её маленькое сердце... и вот, лёжа в роддоме, мама плакала, может, от счастья, — всё-таки я же у неё родился, но, может, и оттого, что не было возможности влиться в тот мир общения, узнавания и родства, которые давал фестиваль... а мне он совсем не был интересен, — не потому, что мои пристрастия ещё не проявили себя, а потому, что я уже тогда был диковат и с большим недоверием относился к людям; подросши, я чурался соседей по миру и всё детство просидел под столом с книгой в руках; но

Соседи по миру

— это была тема: мы жили в маленькой комнатке площадью восемь квадратов внутри огромной коммунальной квартиры, — жильё было угловым и располагалось возле двери чёрного хода, — здесь в крохотном коридорчике стоял папин верстак, непонятно как втиснутый в глухое пространство между стенами; здесь папа мастерил мебель семье; в конце пятидесятых с мебелью и деньгами было туго, вот папа и старался... прошло шесть десятилетий и, делая в маминой квартире ремонт, я выбросил сделанные папой доисторические шкафчики, давным-давно потерявшие актуальность и приличный вид... долго же я за них держался! не за них, впрочем, а за память об отце, — осталась тумбочка, старая, побитая жизнью и переездами, сохранившая чудесную интарсию на крышке и дверце, — её не выбросил, думая привести в порядок, — вещь винтажная, стильная, да и память же; комнатка, в которой мы жили на Садово-Кудринской, была почти квадратной, в середине её пролегал проход, стены были заставлены папиной мебелью: шкафом, сервантом, кроватью и круглым столом, а в углу стояли холодильник и моя детская кровать; учитывая сегодняшнюю страсть человечества к широко меблированным квартирам, наша комнатка была более чем скромной; в шестьдесят пятом, правда, в ней явился предмет роскоши — телевизор «Волхов», надёжно ставший наверху холодильника, — у нас было тесно, если иметь в виду классический состав нашей семьи, а позже папа ещё усугубил ситуацию, подобрав во дворе воронёнка со сломанной ногой... или лапой, что там у птичек? ногу, словом, папа решил вылечить, — примотал две дощечки, стянул бинтом... воронёнок стал членом семьи, любил клевать просроченные таблетки и ругаться матом, — папа был юморист, взял да и научил воронёнка материться, — мама, воспитанная бабушкой, как настоящая смольная девица не могла этого терпеть и всё норовила выставить воронёнка прочь, чтобы он уж во дворе развращал местную шпану, но папа не давал, стойко отстаивая интересы питомца; если редкие гости спрашивали меня, пятилетку, кто живёт в этом чудном месте, я отвечал: мама, папа, ворон и я! соседи, впрочем, его не любили, справедливо предполагая в нём порочные

наклонности, то было и в самом деле так: стоило кому-то открыть дверь, как ворон, прежде чинно сидевший на шкафу, покидал комнату и начинал с чувством шарахаться по коридору, летел на кухню, нагло жрал всё попавшее под его жадный клюв, а потом, прикинувшись тряпочкой, лежал на посудной этажерке, — стоило кому-то из соседей войти на кухню, он срывался и, бия крылами, шумно пикировал на вошедшего: дядя Миша Ляпичев грозил отцу убийством — как хозяину и злонамеренному дрессировщику, а ведьма Лариска, жившая в конце коридора, обещала превратить ворона в змею; мне эта ведьма казалась древней старухой, хотя сейчас думаю, ей было сорок с небольшим, но она была седая, костлявая, ходила с костылями, а в карманах её водились жабы, — я боялся её пуще глаза и всегда убегал прочь, едва услышав стук костылей по коридорному паркету; паркет, кстати, был шербатый, скользкий, скрипел и шатался под ногами, а под колёсами моего трёхколёсного велосипедика — пищал и прищёлкивал; велосипед любил отбирать у меня сынок дяди Миши Ляпичева, Витя, — лет тринадцати, стриженный в кружок мальчишка, вредоносный, задиристый, — молча подходил, брался за руль велосипеда и повелительным кивком головы извлекал из седла законного владельца, — я уступал, конкурент, расставив ноги, крутил педали и с грохотом отъезжал в направлении входной двери, где была комнатка Лисички, молодой рыжеволосой женщины, за которой Витя вечерами подглядывал в скважину замка; Лисичка была та ещё оторва: только услышит шорохи за дверью, сейчас включит лампу на столе и давай медленно снимать одежды да нарочно выворачивается, принимает позы, склоняется, — Витя уже роняет слюни, а она то носом, то кормой и так, и сяк, и об косяк; Витя потом ловит меня в коридоре и, захлёбываясь, повествует: у неё вот здесь — во! а вот здесь — во! и показывает, сколько именно, знатно растопырив руки, — мне так хочется взглянуть, но кажется, что это стыдно, и я не решаюсь, — когда Витя подзывает меня к Лисичкиной двери, отчаянно гримасничая и вертя руками, я подхожу, боясь скрипнуть дощечками паркета, но в двух шагах от места застываю, топчусь на месте, краснею, а Витя галантно приглашает меня к замочной скважине... нет! жестом говорю я и отступаю с позором; Лисичка знает мою робкую любовь и, встретив меня в коридоре, нежно ерошит мне волосы; соседи — это человечество, и мне уже доступно кое-какое понимание о них; прямо против нас жила богомольная старушка тётя Вера, кажется, в ещё меньшей комнатке, чем наша, — у неё было много книг и иконки над лампадкой, которая всегда горела, завораживая огнями, играющими в разноцветных стёклах, вставленных в оправу драгоценной плошки; тут был запах воска, мира и старушечьей судьбы; под кроватью тётя Веры жили тигрёнок и карликовый кенгуру, про которого я думал: собачка, так как не знал возможностей существования экзотических зверей; тётя Вера дарила мне конфеты, хранившиеся у неё в шкатулке из слоновой кости, внутри которой темнел лиловый бархат, и ежели там не было конфет, хозяйка налагала на резную крышку руки, что-то шептала и в таинственной бархатной норе являлась целая гора сливочных тянучек; я любил ходить в гости к тётя Вере, но не тянучки влекли меня туда, а одна тёмная икона, мерцающая рубинами, в свете которых я видел глумливых обезьян с рогами, крытых шерстью и с электричеством в глазах... о-о! это было зрелище! как я жалел мучимых людей, сострадал им, не зная, конечно, за что отмщение им и кто тут воздаёт, — я боялся иконы, но действие её было ворожкой: я тянулся к огню, адским пыткам и серным клубам ядовитого тумана, вдыхал страшный запах и видел, как хвостатые обезьяны таскают туда-сюда грешников, тянущих ко мне руки и молящих пощады... такая была у меня школа и фундамент, но был ещё старший друг, силач Силантий, живший возле кладовки, наполненной соседским дрязгом, — то был богатырь, великий дух, эквилибрист, жонглёр и добрый человек, работал в цирке на Цветном, жонглировал на арене гириями, и когда он тренировался в рекреации квартиры, я подходил к нему и щупал бицепсы, — руки, ноги его, прекрасный торс, — всё было покрыто золотым потом, он блестел и переливался бликами под тусклой

лампой, я пребывал в немом восторге, когда он подымал чугунок, который я просто не мог подвинуть с места, — однажды, когда Силантий жонглировал большой гирей, из своей комнаты в легкомысленном халате выплыла Лисичка, подошла к богатырю и заворожилась, глядя в его накачанный живот; хочешь пощупать мускулы? спросил её Силантий, — хочу, в каком-то полусне сказала Лисичка и робко подошла к нему, — ну, давай, сказал Силантий, и она пощупала его согнутую руку... погладь меня, сказал Силантий, и она робко погладила его по животу, — Силантий вспыхнул, бурно и коротко, волосы его затрещали, и искры посыпались с ладоней! я отступил, опалённый этим беззаконным огнём, и в ужасе бежал в родительскую комнатушку... на Девятое мая Силантий являлся в гимнастёрке, галифе, обувал сапоги и весь в медалях выходил на улицу, — День Победы был днём его триумфа, в сравнении с которым меркли его триумфы в цирке, — женщины любили его и сходили с ума от его божественного запаха, включавшего в себя букет запахов арены: влажных опилок, талька, лошадей и золотого пота, — но он любил Лисичку, а я подглядывал за ними, когда они выходили на Садовое кольцо и под ручку, тесно прижавшись друг к другу, шли к улице Герцена, а по ней — к Кремлю, — я тащился следом и видел, как встречные женщины завистливо глядят на них и украдкой вздыхают, невольно замедляя шаг... в шестьдесят пятом он как-то зазвал меня к себе, показал коробочку, открыл её и достал медаль *XX лет Победы*, — тогда я думал, разумеется: медаль — из золота, и восторг мой не поддавался описанию, — Силантий дал мне её на целый день и сказал: помни, сынок! я запомнил... эти люди внушили мне понятие о человечестве, я их вспоминаю — тем чаще, чем я ближе к ним, и мне кажется уже: стоит лишь протянуть руку и... вон они, в далёкой дымке, стоят и приветливо кивают — дядя Миша Ляпичев, Лариска, Витя, тётя Оля, огнегрявая Лисичка и мой могучий друг Силантий, — люблю всех, это мой гумус, чернозём, почва, из которой я пророс, и почта, которая меня пустила в мир, — почва и почта — лечу по жизни заказным письмом, но обратного адреса уже нет, и нет места назначения, есть лишь пустота, куда кану я вслед за героями моих странных повестей, но... может быть, кто-то воскресит меня, как моя тётя София из повести «Умри-воскресни» воскресила своих предков, и да, есть шанс, это возможно, ведь воскресил же я и тётю Софию, и дядю Богдана, и деда своего, — их давно нет, но они живут, — читатели мои узнают их и многих начинают любить, — все эти неприметные герои родом с другой земли, из Лиды, а

Лида

есть плавильный котёл, где жили люди разных национальностей, исповеданий и политических взглядов, — история не обошла Лиду стороной, и здесь было всякое, сильно похожее по сути своей на то, что происходило в других местах нашей огромной страны; понять себя, время и суть её можно, прикоснувшись к корням, но тут необходимо дать себе труд, хоть и трудно заставить себя трудиться, ибо трудовая повинность в этом случае — почти философская доктрина... хочешь осмыслить себя во враждебной вселенной, достичь покоя, смирения и согласия с судьбою? копай! нужно с помощью бумажных архивов и архивов памяти извлечь из небытия многих смертей соль земли, разложить эту соль на атомы да и понять, может быть, смысл жизни, которого по большому счёту нет, ибо смысл жизни — в самом движении её, — в утреннем пробуждении, в чашке кофе, в работе, прогулках, в общении с друзьями, в спорах, ссорах и примирениях, в любви и, само собою, — в смерти... да, смысл жизни в том числе и в смерти; в Лиде есть краеведческий музей и архив, который, правда, ведёт свою новейшую историю с послевоенных времён; большинство документов архива погибло во время гитлеровской оккупации городка, и совсем мало нужных для работы бумаг удалось мне сыскать среди сохранившихся летописей Лиды, однако, ещё время назад с помощью своих хитрых поисковых приёмов я вызнал: там жил мой прадед,

который явил миру одиннадцать детей; все они выжили в младенчестве — а в те годы мудрено было выжить — и стали романтическими героями моих повестей; они разлетелись по свету, и вихри истории растворили их в гуще легендарных событий; вырвать предков из контекста эпох сегодня нельзя, во всяком случае, мне — никак, ведь про каждого из них можно написать целую книгу, что я и сделал уже о многих: фантастическая история деда, близкого друга Махно и авантюриста, а потом партизана рассказана в повести «Игра в пепел», не менее фантастическая история дяди Богдана, участника становления советской власти в чукотском Ново-Мариинске, — в повести «Эскимосско-чукчанская война», а полная приключений жизнь дяди Авессалома, ставшего волею судеб одной из ключевых фигур социалистической революции в Персии, и ближайшего соратника Кучек-хана, — в повести «Дядя Авессалом»... множество иных героев, уроженцев Лиды, явилось из пустоты и продолжает жить в текстах дальнего потомка и генетического земляка, потому что, родившись в Москве и обретаясь сорок лет в Средней Азии, я каким-то мистическим образом оказался связан с теми людьми, с той землёй, с маленькой Лидой, ставшей моим Макондо, моими Йокнапатофой, Утопией... и, как Макондо, Лида во многом придумана, — в коллизиях, драматургии, сюжетике, но в то же время она — историческая, основанная на архивных бумагах, мемуарах, воспоминаниях очевидцев; фабульная Лида — целиком в мифе, причём миф тот основан не только на мистике и фольклорной традиции, но и на реальных событиях, которые стали в своё время поворотными и для города, и для всей Беларуси, а шире — для всего Союза, ведь бытиё Лиды в составе Российской империи, советско-польская война и заключение Рижского мира, уход города в Польшу по итогам этого договора и возвращение в 1939-м в лоно Советов, — всё это, как уже говорилось, — почва предков и моя почва: исторические события по мере смены десятилетий, эпох обрастали ракушками и окаменелостями мифических наслоений, которые и стали в конце концов квинтэссенцией лидских легенд; последняя моя книга называется «Тёмная Лида», — городок вправду тёмный, ибо до конца прояснить его историю, докопаться до сути его обитателей сложно, почти невозможно, но я пытаюсь, пытаюсь, и вот из тьмы веков и социальных срывов являются мои герои: местный юродивый Витя — в рассказе «Горький хлеб Вити-дурачка», ветеринар Стах Рымарь, ставший полицаем и убийцей, — в рассказе «Маленькая и мелкий бес», кавалерист-девица Фрося, считавшая себя дочерью смерти, — в повести «Терновник» или тётя София, нетипичный патологоанатом, мечтавший о воскрешении предков, — в повести «Умри-воскресни»; их много, этих героев, и их уже нельзя отделить от автора и от Автора, как нельзя отделить от той земли, из которой они вышли и в которую в мистическом смысле вошли, впитавшись в самый дух её, в её плодородную сущность и основу, что, очевидно, и есть то самое воскрешение предков, о котором мечтала одна из сестёр моего деда, тётя София, — и что важно: в понятие «предки» следует, наверное, включать не только предков по крови, но и тех, кто жил с ними на одной земле, кто поливал её своей и чужой кровью и выпитывал непростое, полное противоречий время, потому за моей спиной не только положительные, но и отрицательные герои Лиды — в литературном смысле этих слов, — вот шлют мне приветы из пустоты реальные исторические личности, судьбы которых волшебным образом переплетаются с судьбами лидчан, как в запрошлом и прошлом веках, так и в новое уже время; я начал писать о Лиде и её жителях, ещё не побывав там, — в Белоруссии я немного жил и в школу впервые пошёл в Гомеле, потому что там жила бабушка, вернувшаяся в конце пятидесятых из дальних лагерей; когда ей разрешили покинуть место ссылки, сняв обвинения, и предложили вернуть жильё в Москве, она выбрала Гомель, ведь в столице ей всё напоминало о прошлом, о расстрелянном муже, о развеванных в пыль родных, — поэтому Гомель был мне знаком, а Лида — нет, Лида была для меня *terra incognita*, так что приехать в Лиду и пожить там было вполне логичным, обдуманном и обоснованным шагом; само собой, от разбомблённого в 1941-м немецкой авиацией

городка почти ничего не осталось в наши дни, но всё-таки осталось: остались руины восстановленного недавно Лидского замка, костёл Воздвижения Святого Креста и кафедральный собор Михаила Архангела, католическое кладбище со знаковыми надгробиями, дома польских осадников и еврейских коммерсантов, дух города остался, его можно почувствовать, несмотря на ухоженные современные здания, широкие улицы и просторные площади; Лиду ощутит тот, кто захочет этого, историю городка впитают тот, кто заинтересуется ею, и, кажется, мне всё это удалось, хоть я и совсем мало пожил здесь, — до конца дней моих она в моей крови, и мои предки, которые давно умерли или сгинули в социальных катаклизмах, — рядом, — они живые, я их воскресил, они со мной, и теперь мы вместе идём по общей жизни... впрочем, были ведь ещё и папа с мамой, не такие далёкие во времени, и про них тоже есть истории, да хоть, к примеру, такая: похоронив маму, я спустя время затеял в её московской квартире дежурный ремонт, который, как известно, сулит порой некие находки, — отыскиваются иной раз забытые вещи, дорогие сердцу, но до срока канувшие в бездну временного безвременья; вот копались мы с женой в мамином дрязге, и вдруг находка — мышь,

Чудесная мышь

в цветном платье, мышь с отбитыми лапками, а из чего мышь? никто не ответил бы, потому что никто не знает, но я-то знаю, я помню, — из марципана; эта мышка давно на пенсии, ей столько же лет, сколько мне, думаю, что и день рождения её совпадает с моим; сегодня это старая вещь, раритет, редкость, мышка закаменела, как каменели на протяжении миллионов лет аммониты и белемниты; когда-то её можно было съесть, и я, видимо, пытался в младенчестве, потому что на ней следы моих зубов; эту мышь папа принёс маме, когда я родился, прямо в роддом, в знак благодарности и любви; мышь можно было съесть, но мама не стала, потому что банальный кусок марципана — не просто лакомство, а напоминание о любви, о счастье, о юности; я держу в руках окаменевшую мышь... живи, мышь! живи хотя бы до тех пор, пока я не уйду вслед за мамой, а там, может быть, мои дети возьмут тебя к себе... а после них — внуки... и любовь останется... вот так рылись мы с женой во время ремонта, рылись, и вдруг натываемся на нечто, называвшееся у нас в просторечии *подставка для яйца*, — это, конечно, моя

Фамильная вещица

, и я думаю, ей лет сто, не менее; мне было года четыре, и я помню тот день, когда отец вёл меня, упирающегося, по улице Горького из детского сада, который был за Белорусским вокзалом, мы шли, я капризничал, и вот на пути стал антикварный магазин, или, как тогда говорили, «комиссионка», и отец, страстный любитель старинного добра, решительно взошёл на ступеньки, — хорошо помню: перед входом были ступеньки, в магазине я перестал ныть, потому что вид замысловатых безделушек заморозил меня, — я и сегодня немею перед старым хламом; отец долго выбирал, рассматривал то одну вещь, то другую, и наконец купил фарфоровое чудо с ёжиком на поверхности круглого бочка, я его теперь во всех странствиях таскаю с собой, оно и вправду старое, — на донышке у него какой-то герб и надпись *Made in Germany*, стало быть, вещь довоенная, хорошая вещь, добротная, тоже кому-то из детей передам, вернее, — из внуков; в прошлом году отцу исполнилось девяносто лет, он ещё работал на даче, строил, — держался молодцом, — писал картины, рассказы и наивные стихи, по-прежнему обожая старинные вещицы, тем более что и сам реставрировал всякий-разный доисторический, но прекрасный скарб; спустя год с небольшим умер — как праведник, в один день, хотя и не был, конечно, никогда им, но мне разве

судить? ведь я и сам много грешен, а отец прожил хорошую жизнь, оставив по себе память, множество картин, чудесных, вырванных из тьмы распада восстановленных вещиц и эту подставку для яиц, которую, как выяснилось, зовут *пашотницей*... и продолжая дальше рыться в историческом хламе, я забывал о грядущем ремонте, и каждая вновь обретенная вещь сдвигала в моей голове, а может, и в сердце, некие тектонические пласты, и метафорическая земля отчизны дарила мне, как заправскому археологу, артефакты потерянной атлантиды: я открыл мамин ящичек — какой-то из ящичков — и нашёл нечто, напомнившее мне бабушек, — у меня (как у всякого нормального человека) было две бабушки, одна, Прасковья Чижикова, стала героиней повести «Игра в пепел», другая — Инна Михайлова — героиней романа «Избиение младенцев» и отчасти — романа «Сказки нашей крови»; от первой бабушки остались кое-какие материальные свидетельства её земной жизни, а от второй лишь

Серебряная коробочка

, таблетница, которую раньше я считал пудреницей; вещице, думаю, века полтора, — моей бабушке она досталась от матери, — происхождение штучки, стало быть, можно отнести к последней трети позапрошлого века; если учесть *десятку* бабушки в Бутырке и на благословенных курортах Коми АССР, а потом ещё и *пятнашку* в бараках ссыльнопоселенцев на краю географии Страны Советов, то непонятно вообще, как эта коробочка дожидка до наших сложных дней, ведь в тюрьмах и лагерях чудесная буржуазная вещица должна была неминуемо сгинуть, пропав навеки, но она попала мне среди жалкой кучки семейного скарба, и я вспомнил рассказ мамы: когда бабушку арестовали, она, уходя в Бутырку, сунула в ладошку дочери эту неказистую память, — а маме было тогда всего пять лет... люди уходят, вещи живут; теперь серебряная коробочка — моя... сколько ещё повестей я успею создать, глядя на неё? я кладу этот осколок судьбы на ладонь, а другой — укрываю, и всё, всё вижу: серые шинели стрелков, пришедших на Поварскую с ордером на арест, душную камеру Бутырки, ледяной Адзьва-Вом, где была пересылка, и — далее везде, то есть вижу всё, что испытала страна, а с ней, конечно, и давно ушедшая

Бабушка

... я жил у неё в Гомеле в шестьдесят четвёртом и тут пошёл в первый класс, — хорошо помню, как тяготила меня школьная форма — жёсткий китель с ремнём (едва гнущаяся кожа плюс латунная бляха, украшенная гербом) и тесная фуражка с кокардой... мне кажется, это было в другой вселенной, настолько те времена далеки от нас! и вот как-то днём, пришедши из школы, сидел я на кухне в ожидании обеда, а сетевой радиоприёмник, которого нынешняя молодёжь, пожалуй, и представить не может, бурчал что-то у меня за спиной; бабушка хлопотала, обед грелся, в маленькой кухне было тепло и уютно, но вдруг бабушка сорвалась и кинулась к прямоугольнику радио... передавали сообщение об отставке Хрущёва, — для бабушки эта новость была, конечно, значимой, ведь она считала, что как раз Хрущёв реабилитировал её, а заодно и её мужа, моего деда, расстрелянного ни за что ни про что в далёком тридцать восьмом; бабушка иногда говорила: как помру, похороните меня на гомельском Пер-Лашез, — что это такое я тогда, разумеется, не знал, но понимал, что имеется в виду кладбище Осовцы, до которого от нашего дома было рукой подать, — вот там она сейчас и лежит под православным крестом, сооружённым её средним сыном, архитектором и художником... но почему под крестом? ведь она всегда была атеисткой и коммунистическим ортодоксом, хотя и не состояла в партии... да, она была прямым, крепко верящим в социализм человеком... как же так, бабушка? спрашивал я её, разве не советская власть забрала у тебя мужа, а тебя со свету сжила, поместив в бесплодные

льды вечной мерзлоты? — это не советская власть, возражала бабушка, это плохие люди, называвшие себя коммунистами, а ведь они ими не были! — я был уже старшеклассником, сознательно пропускавшим собрания комсомольцев и субботники, а бабушка писала мне в письмах: как ты можешь? ведь комсомол не справится без тебя! ты должен принимать участие в общественной жизни, помогать партии строить будущее, — с чего я должен, бабушка? возмутился я, никому я не должен! — и прекрати задавать мне вопросы, писала в письмах бабушка, ни про тюрьму, ни про ссылку, я тебе ничего не скажу... о тебе узнают, станут присматриваться, а потом и вызовут, куда следует... и загремишь, загремишь, помани моё слово, загремишь, — бабушкино поколение было навсегда ушиблено страхом, Лубянки они боялись больше чёрта, а как всё начиналось! — начиналось свободой, равенством, братством, учёбой в ИФЛИ, или, как шутили тогда, — в *Институте флирта и любовных интриг (!)*, дружбой с Маяковским, Кирсановым, Верой Инбер... бабушка была любимой ученицей Гроссмана-Рощина и одним из авторов издевательских стишков о нём: *Не просто Гроссман, а Гроссман-Рощин, / Вот и в искусстве пробил он брешь; / Не ловелас он, но ловит нас он, / Но кто ж польстится на эту плешь!* — Гроссман был известным в десятилетие двадцатые годы анархистом, горячим сторонником террора, лично угробившим кучу ни в чём не повинных людей, — со временем, осознав, видимо, опасность своих увлечений, покинул политику, публично отмежевавшись от анархистов, — в тридцатые он стал литературоведом и критиком и очень любил, по сообщениям бабушки, юных студенток, — отсюда и едкие стишки, сочинявшиеся тогдашней дерзкой молодёжью во славу его образа... да, начиналось свободой, а завершилось тюрьмой, — бабушка была неосторожна, беспечна: когда арестовали деда, её вызвали на допрос, и следователь, опустив глаза в стол, шёпотом сказал: как можно быстрее уезжайте, покиньте Москву и, возможно, спасётесь, — но бабушка подумала: куда я поеду? за мной вины нет, стало быть, и ехать не нужно, — ну а там и Бутырки подоспели;

Дед

в это время был уже расстрелян, но бабушка о расстреле не знала, она и не думала, что такое возможно, ведь он тоже не мог быть виновным, и потом — он был преданным солдатом партии, убеждённым сторонником справедливого устройства мира, считал, что трудящиеся должны быть сыты, одеты и обуты, а человек труда — превыше всего, но, оказывается, его завербовали враждебные разведки, он стал диверсантом и вредителем; должность его была незначительная, но значимая, он строил автодорогу Москва — Минск, работал в системе ГУШОСДОРа — Главного управления шоссейных дорог — и был главным инженером проекта, а вот поди ж ты! — когда началась перестройка и немного приоткрылись архивы, я подал в ГБ прошение отыскать следственные дела бабушки и деда, — сделал это без надежды, ведь репрессированных были миллионы, а фамилия Михайловы — не самая редкая; прошло полгода, и к моему изумлению дела сыскались, — меня вызвали в Общественную приёмную КГБ на Кузнецком, провели в читальный зал и вручили два пухлых тома, один на бабушку, другой на дедушку; в течение трёх недель под присмотром офицера я изучал документы; в папках были протоколы обысков, изъятий, допросов, письма бабушки Калинин, Ежову и Берии — с просьбой пересмотреть дела, в папке деда хранился донос, который подписал сослуживец деда, член ВКП(б) Плешко, техник ГУШОСДОРа, — не знаю, что с ним случилось, может, потом он и сам пал жертвой чьего-нибудь доноса, а может, и не пал, может, добыл ударным трудом ордена да выступал перед школьниками в эпоху развитого социализма, но сейчас его точно нет на свете, жарится, надо полагать, в аду на сковороде у рогатых вершителей общей справедливости, — было же мне жалко мучимых чертями грешников, виденных на иконе соседки тёти Оли, да просто не знал я их деяний, а теперь узнал и не стесняюсь

сказать: пусть горит в аду техник Плешко и все предатели мира, союзники его! ну, дело прошлое, — в конце пятидесятых бабушка покинула район вечной мерзлоты, поселившись в Гомеле, а дед растворился во вселенной — без могилы, оградки и камня с едва заметной чёрточкой меж датами, определяющей мгновение бытия человека, у которого, между прочим, есть

Цена

, — в память об отце мама купила сумку из кожзаменителя, настенный коврик и золотую брошь; тут такая штука, — о ней мало кто знает: реабилитированным после смерти Сталина платили компенсацию, а ежели кто не доживал, то деньги получали дети невинно убиенных или сгинувших без вести; вот мама и сподобилась; люди в те опасные года теряли всё: дома, квартиры, деньги, добрые имена, репутации и, в конце концов, — жизнь, а доброе государство платило за них три копейки, — не дай бог наследники забогатеют! — мама была совсем девчонка, студентка педтехникума с крошечной стипендией, голодала, ходила в бабушкиной кофте, но не стала тратить полученные деньги на ливерную колбасу, нет! она купила коврик с оленями, сумочку и золотую брошь, — брошке этой столько лет, сколь и мне, грешному, я берегу её как зеницу ока; коврик висел над моей кроватью, это, стало быть, мама купила его своему младенцу, то есть мне, головастому, слюнявому, перепачканному молоком; помню этот коврик спустя десятилетие, когда детская кровать моя сменилась на металлическую с блестящими шарами, — так сверкал зеркальный никель! — то был советский шик — купечья кровать, хотя и подростковая, с металлической пружинной сеткой, — коврик спустя десять лет стрепался, олени приуныли и кое-где были уже побиты молью, — ещё сколько-то лет он служил, являясь для меня, книжного ребёнка, окном в волшебный мир, а потом истлел и, показав напоследок свою грубую изнанку, отправился в помойку... не было внутри коврика сказки, волшебного мира, принцев с принцессами, а была лишь холщовая изнанка, грубая изнанка жизни, о которой я не знал ни-че-го... а ещё сумка, искусственная сумка мамы, найденная мной спустя жизнь на антресолях: открыв её, я ощутил укол в сердце, — сумка пахла мамой, и запах был едва слышен... пахло помадой, дешёвой пудрой и ускользящим ветерком советского парфюма... всё кануло, ушло, пропало и исчезло, — осталась брошка, купленная мамой в память отца, — два тонких рожка, два камушка, непритязательный имперский дизайн... вот цена человека, расстрелянного во внутреннем дворе Лубянки, — кусочек золота и растворившиеся в мареве эпохи сумка, коврик, мама... а бабушка... с ней я дружил, и она рассказала мне всё-таки многое из своей колымской жизни; её судьбу описал я почти реалистично в романе «Избиение младенцев», а судьбу деда — с помощью свирепых приёмов постмодернизма — в романе «Русский садизм»... другим характером обладала моя вторая бабушка, которая воевала шестнадцати лет у батько Махно и хранила у себя дома, на Крестовском, старый *ремингтон* с гранёным стволом, латунным курком и блестящим барабаном, вещь опасную, необязательную, а лучше сказать вовсе лишнюю в советское время, — эта бабушка была осторожной, как лесной зверь, издалека чующий опасность, — благодаря такому качеству она уцелела в смутные времена и сама вырастила двух сыновей: моего отца и дядю; отец был послушным, спокойным, мирным, а дядя — дерзким, упрямым, своевольным, — благодаря ему узнал я тёмный мир Крестовского рынка, Крестовских переулков и бандитского района Марьиной роши, но о нём — в свой час, а пока — о бабушке Паше, Прасковье Чижиковой, с которой связана банальная история про

Шоколад

и про маму, вовсе не желавшую становиться мамой; она долго-долго не хотела рожать, что было связано не с какими-то медицинскими проблемами, как могло показаться человеку, не знающему эпохи, а с тем, что всего-то три года прошло с памятного марта пятьдесят третьего, с того единственного года в истории страны, когда Международный Женский день не праздновался вообще, да и не мог праздноваться, — по причине глубокого общенационального траура; когда арестовали родителей мамы, ей было едва пять лет, и вся дальнейшая её жизнь прошла под знаком этого события, — и в школе, и потом в училище она была дочерью врагов народа, одной из тех щепок, которые повсеместно летели, благодаря неким лесорубам, с энтузиазмом рубившим человеческий лес, и только в пятьдесят шестом, когда случился ошеломительный Двадцатый съезд, даже таким молодым ещё людям, как мама, стало ясно — теперь бояться уже нечего... и она сказала это папе, а папа рьяно принялся за дело; страх как-то легко покинул родителей, даже несмотря на то, что материалы съезда были секретными, а доклад Хрущёва читался лишь на закрытых партийных собраниях, но слухами — и все это знают — полнится земля, потому-то в следующем году произошёл невиданный всплеск рождаемости по всему СССР; вот я и явился в пятьдесят седьмом — вместе с сотнями тысяч таких же счастливых малышей, родители которых уже твёрдо уверились в том, что опасения за семью больше не будут мешать их молодым жизням, но потом выяснилось: исторические катаклизмы не влияют на состояние любви в одной отдельно взятой семье, — мне не было ещё семи лет, как семья наша распалась, и я очень переживал, что папы теперь нет рядом, а ещё больше — оттого, что не было бабушки, папиной мамы; бабушка любила меня пуще жизни и баловала бесконечно, — то была какая-то сумасшедшая любовь, которой и сравнения сыскать нельзя, — она кормила меня пирожками и первой, едва являвшейся на рынке клубникой, за столом отдавала мне лучшие куски и тискала меня бесконечно, не зная, как ещё выразить свою любовь; я тоже обожал бабушку; каждый раз, уткнувшись в её мягкий живот, я с удовольствием вдыхал сладкие запахи корицы, кардамона и яблочного повидла, которыми были пропитаны её натруженные руки, но с уходом папы бабушка исчезла из моей жизни, — мама не хотела, чтобы папина семья тревожила мой покой; однако, бабушка была не из тех, кто теряет даром свою любовь: когда я пошёл в первый класс, она стала приезжать к моей школе с Крестовского и поджидать звонка на большую перемену, я выбегал во двор и сразу попадал в её объятия, она всегда приносила что-то вкусное, а однажды принесла шоколадного зайца в хрустящей бумажке и просила съесть его до конца занятий, чтобы, не дай Бог, моя мама не узнала о её визите; я положил зайца в карман, намереваясь заняться им на новой перемене, но спустя час шоколад растаял и превратился в бесформенную массу... я снова вышел на двор, но уже не бегал, не прыгал, — мне нужно было съесть зайца, — развернув бумажку, я откусил шоколадный кусок и... тут слёзы брызнули из моих глаз! я вдруг до боли ощутил своё сиротство; вкус сладкого шоколада смешался со вкусом моих горьких слёз, и мне стало так страшно, как не было потом ни разу во всю мою долгую-предолгую жизнь, я не знал, как съесть поскорее проклятый шоколад, как отмыть после него руки и испачканный карман, — если мама узнает, что приходила бабушка... я плакал в отчаянии, но ещё горше плакал я спустя двадцать лет, когда стоял над её могилой, не зная, как отомстить того зайца, как выпросить прощение у судьбы и как, в конце концов, сказать теперь бабушке какие-то важные, может быть, самые важные в моей жизни слова... она прожила большую жизнь, и кто бы мог подумать, что после службы у Махно, а потом пребывания в отряде Тувьи Бельского, собравшего в Налибокской пуще тысячу с лишним партизан, станет она простой домохозяйкой и объявит решительный

Карантин

в доме на Крестовском, где мне довелось недолго жить, — сначала дошкольником, а после и подростком; когда объявили ковидный карантин, я вспомнил тот, старый, устроенный бабушкой в шестидесятых: шесть десятилетий прошло, всего шесть (а может, целых шесть), и я услышал давнее эхо, — так доходит из космоса свет далёкой звезды, и вот же он, свет, дошёл, долетел... дом на Крестовском стоял на входе в проулок, у водопроводной колонки, — сейчас трудно представить, что на улице Москвы, почти в центре, могла стоять колонка, из которой местные жители брали воду, — хорошо помню её, и каким наслаждением было после дворовых драк или футбольных баталий сунуть голову в ледяные струи! — нужно было двумя руками опустить рычаг, а потом, держа его одной рукой, нырнуть под поток, — тугая струя била в рот, зубы немели, и ты, фыркающая и отряхиваясь, с сожалением уступал место стоящему рядом нетерпеливому товарищу... эх! в нашем дворе собиралась шпана всех Крестовских, а их было три, приходили подростки с Большой Переяславской и с Малой, приходили старшаки с Крестовского рынка, — шестидесятые ещё оставались временем позднего *реабилитанса*, и бабушкин район был полон бывших блатных, вышедших по недавним амнистиям, и приклатнённых, крутившихся рядом с ними, — немного подросши, я стал в их ряды, но меня не влекла блатная романтика, а просто иных компаний здесь не наблюдалось; мы собирались в шерботой кирпичной подворотне, через которую можно было выйти на Проспект Мира, то есть на Первую Мещанскую, здесь играли *в пристенок*, резались в карты, брэнчали на гитаре, курили, бывало, выпивали и приставали к прохожим, которые вообще боялись соваться сюда, предпочитая обходной путь через Второй Крестовский; здесь наш авторитет Костыль дал мне первую папиросу, и я выхаркал бронхи, чтобы потом во всю жизнь более не курить; вот с бронхами да и лёгкими связан был карантин бабушки: дом наш, бревенчатый полуторазэтажный осколок эпохи, был заражён чахоткой, явившейся из проклятых богом лагерей, но жить как-то было нужно; квартиру купить в те времена не представлялось возможным, — чтобы сменить место жительства, люди пускались во все тяжкие, вступая порой в прямой конфликт с суровым Уголовным кодексом, да и денег у бабушки с дедушкой не водилось, — когда-то они владели золотом, бриллиантами и иными сокровищами мира, но тучные времена миновали, и семья не шикавала, — жили обычной жизнью советских обывателей, которая для бабушки была, как сейчас понимаю, весьма нелёгкой; всякий день начинала она с хлорки, — с протирания дверных ручек, мытья полов, уборки туалета, а кухня... кухня была отдельной песней! раковина тоже была общая, и в ней мыли посуду все соседи, — страшный бандит и убийца Антрацит, ходивший по квартире нагим, бывший нэпман Трапезников, вместо пальто во все времена года носивший ватный халат, и старуха Еповская, источник и средоточие смертельно опасных палочек Коха, она была очень добрая, эта старуха, а бабушка говорила — злая; это я сейчас понимаю — добрая, а тогда я боялся её, ведь бабушка уверяла: она колдунья, злая волшебница и может наслать страшную болезнь, — понятно, что бабушка пыталась оградить меня от контактов с больной, но Еповская хотела общения, искала внимания бабушки и время от времени передавала ей для меня то яблоко, то горсть конфет, то кусок пирога, а бабушка боялась её и все подношения выносила во двор, где под нашим окном росла ядрёная крапива и топинамбур, заслоняющий небо; в стороне от колонки, на стене дома был пожарный щит, где висели топор, багор и штыковая лопата; бабушка брала лопату, копала ямку и сосредоточенно хоронила кусок пирога; однажды Еповская заметила это, подошла к бабушке и... разразилась рыданиями, — она любила меня, бабушку, дедушку, всю нашу семью, и эти похороны пирога были для неё ножом в сердце... всю жизнь я пишу о родных и о своих предках по всем линиям, сливающимся

в конце концов в торную дорогу судьбы, я верю в предназначение, фатум, рок, верю в то, что писано на роду, а писано что-то подобное: родившись из мамы, я попросил карандаш, бумагу и тут же, не сходя с места, написал свой первый в жизни рассказ, — я написал: «...Там было темно, сыро, скорбно, и я всё пытался найти себе человека...» искал человеческое, дурачок, не понимая в силу простительного скудоумия, что человеческое — вокруг, и что это — тёплая мать... и вот прошло шестьдесят пять лет, а я всё ищу человека и человеческое в этом неприятном мире и чувствую уже всем нутром: совсем рядом тот порог, то место, где будет опять темно, сыро, скорбно, и я, будучи уже слепым, подымаю руку, по-прежнему пытаюсь найти человека, но схватываю лишь пустоту в том месте, где была когда-то тёплая мать... но таким текстам разве удержаться в веках? то был незрелый младенческий сказ, и даже мама не смогла запомнить его, — по прошествии пяти лет я написал нечто более внятное, и это был мой

Первый роман

, потерянный и забытый, но обретенный недавно по итогам ремонта, сделанного в квартире мамы после её похорон; думаю, антресоли, сараи и чердаки есть своего рода музеи хлама и сора, которые так дороги небогатому человеку, в том драгоценном хламе отыскиваются иной раз вещи, напоминающие о прошлом, об ушедших родных, которых мы любили, и о нас самих, — только те, прежние, мы, вовсе не похожи на нынешних, и вообще это не мы, а какие-то другие, незнакомые люди, что и подтвердилось, когда я достал с антресолей альбом с картинкой, сделанной мною в шестьдесят втором: три персонажа — русский, немец, татарин и некая певица (кстати, лысая, как у Ионеско), самолёты, танки и прочая техника, — косыми и даже зеркальными буквами писалась история покорения певицы с помощью очень странных средств; как можно понять, в романе было всё, что необходимо зрелому тексту: завязка, развитие действия, кульминация и развязка; не было, правда, психологии, а герои казались плоскими, — ни тебе речевых характеристик, ни тебе описаний внешности, — только ходульные определения, касающиеся национальности; что, впрочем, взять с пацана, не знающего жизни! я искал славы, но не нашёл её — мама сказала: жестокий рассказ; папа сказал: нежизненно как-то, ненатурально, безобразничать у тебя лучше получается... знали бы они, что напишу я спустя десятилетия, — читая мои истории, маститые критики хватались за валидол, барышни обходили меня стороной, предполагая во мне маньяка, коллеги настороженно смотрели мне вслед, горестно щурясь; я был вне литературы, вне жизни, мировое сообщество боялось меня, президенты не звонили мне, премьер-министры избегали встреч, один только вождь последнего на земле племени каннибалов всё ещё писал мне письма, да и то, наверное, потому, что не читал моих книг, и правильно делал, ведь ужас в них сменяет ужас, и это тот прах, который в основе человека, та протоплазма, которая дала нам жизнь, — в моих книгах много любви, но и много ужаса, в них не только революция, Гражданская война или Холокост, в них — русская готика, берущая начало в текстах Одоевского, Загоскина и Ореста Сомова, и всё это есть в цикле о Лиде, где я начинался, ещё не предвидя судьбы, но старая Лида канула, ушла в вечность, а новая стала метафорой советской Атлантиды, результатом русской смуты, случившейся в XX веке, — и эту Лиду я описал, Лида — моя суть; но вошло в меня более того — и Садово-Кудринская, и Первый Крестовский переулок, и Живописная, куда переехали мы в шестьдесят седьмом, — переезду предшествовали годы эпистолярных упражнений: мама писала в ЦК КПСС, в Комиссию по реабилитации, лично товарищу Брежневу, — уже прошёл Двадцатый съезд, уже получены были бумажки о полном оправдании убитого зазря деда и просидевшей полжизни бабушки, уже мама с папой яростно спорили о солженицынском «Одном дне», с сомнением читали «Барельеф на скале» и писали, писали, писали... горы бумаги извели! результатом стала

Однушка на Живописной

, маленькая, но своя! впрочем, она тогда и не казалась маленькой, — меня привезли туда, торжественно дали ключ, я открыл дверь и... солнце брызнуло мне в лицо! был май, ветер врвался в окно, принося запахи цветущих кустов, — двор был гигантский, под домом — пустырь, чахлые деревца и через улицу — ёлочка новых хрущёвских пятиэтажек; район пустовал — ни магазинов, ни прачечных, ни почты, только железный вагончик с надписью «Хлеб» ютился на пустом пятачке; воскресеньями сюда приезжал грузовик, и штабеля ржавых ящиков окружали его и пространство, которое занимал царственный великан, принимавший стеклянную тару — бутылки-банки, он стоял в цитадели из ящиков — в синем халате, вязаной шапочке и нитяных перчатках без пальцев, милостиво одарял приносителей мелочью, извлекаемой из мешочка; очередь составлялась большая, стояли минут тридцать, чтобы попасть на приём к этому осанистому расточителю меди, которую он ловко скатывал тебе в ладонь, — я бежал домой, отдавал мелочь маме, а мама выделяла мне из неё двугривенный: купи, сынок, мороженое! и вот я у киоска в глубоком раздумье — эскимо за 11? фруктовое за 13? а может, пломбир за 20?.. если эскимо, то целых 9 копеек останется, добыть ещё 11 — и снова пломбир! недостающие деньги можно было найти, выиграв их в *чику*, или *пристенок*, — играли копейками, и иногда мне везло, — я был азартен, но быстро скисал в случае неудач; мама всегда знала, когда я выиграл, а когда *продулся*, она хоть и не поощряла этот вид заколачивания — в буквальном смысле — денег, но и не устраивала по этому поводу метафорических порок, всё-таки я был скорее домашний, нежели уличный подросток, потому что моей настоящей страстью были книги, добываемые в библиотеке пачками, — за неделю я проглатывал их и бежал за новыми, но если уж выгоняли меня на улицу, то загнать обратно было проблемой: район наш был дик, в конце шестидесятых считался окраиной Москвы да и был ею: в Серебряном бору стояли дачи, кругом росли сосны, а за деревней Татарово, находившейся по ту сторону Москвы-реки, колосилась на полях пшеница; любимым развлечением дворовых мальчишек была ловля раков, — мы шли на реку, находили под берегом норы и выслеживали на мелководье этих синих чудовищ, ловили их с помощью корчаг, но то было долгое дело — плести корчагу, ставить её, ходить проверять... а тут прошлись под речными обрывами, и вот тебе целая сумка одетых в доспехи речных солдат, — пива в нашей семье не водилось, а вот квас, под который шли раки, был всегда; жёлтую квасную бочку я видел из окна и всегда оценивал состояние очереди: как только она уменьшалась, я хватал трёхлитровую банку и бежал к маме: мама, квас! мама давала мелочь, и я нёсся к бочке... о, это поэма! толстая продавщица в белом чепчике мыла кружки, рылась в россыпи мокрой меди, а ты принимал с благоговением из её пухлых рук тяжкое стекло, полное коричневой влаги, весело сдувал с неё шапку пены и пил, наслаждаясь, ледяной нектар, пока фея кваса наполняла банку, 12 копеек литр, 6 копеек — большая кружка... счастье, по-моему, в мелочах, в том кайфе, который они предлагают тебе — мороженое, квас, раки, эпопеи сдачи бутылок и горячее предвкушение новой книги, — всё, воспринимаемое душой впервые, и уже привычное — небо, облака, речка, пустой ещё и необжитый район и ощущение тепла, грядущего лета, нового дыхания жизни, чувства, что всё твоё, и размышления о грядущем богатстве... материальная сторона жизни у нас, к слову, улучшилась, — то ли зарплаты родителей подросли, то ли продукты подешевели, а может быть, это просто казалось, но ушли в прошлое гречневая каша без сахара, овощной супчик без мяса, и происшествия, подобные тому, которое я назвал сейчас

Два килограмма масла

, — в эпоху нашего проживания в центре мама послала меня на угол Малой Бронной и Садово-Кудринской, наказав купить сливочного масла, — нужно было двести граммов его; мама открыла сумочку, пошарила там и, вздохнув, вынула красную десятку с профилем вождя; я пошёл в магазин и, будучи отменным зевакой, стоял возле домов, глазел на людей, машины, бегущие по кольцу, и вот, двигаясь потихоньку к цели, застыл возле витрины лавочки «Овощи-фрукты», где круглый год красовались муляжи ананасов, бананов и виноградных кистей, потом завернул в проулок, где стал гонять голубей, а зайдя в нужный магазин и увидев куб масла в эмалированном лотке, стоящем в витринном холодильнике, ткнул в масло пальцем, со стороны, разумеется, витрины, и сказал: два килограмма масла! — сколько? спросила продавщица, — два килограмма, уверенно подтвердил я... продавщица пожала плечами и взвесила два килограмма... мечтательный раззява всё перепутал, — не два килограмма, а двести граммов! масло стоило три пятьдесят, стало быть, я заплатил семь рублей и довольный собой, пошёл к маме; дома мама взяла масло и получила из моих рук трёшку сдачи; что это? спросила мама, — как что? не понял я, масло, конечно, ты же сама сказала; мама положила свёрток на стол, взяла меня руками и притянула к себе, — так, обнявшись, мы постояли, а потом я почувствовал: мама плачет; мама, не плачь, сказал я, поняв ошибку, мы его съедим, — конечно, сказала мама, только это последние деньги, а до получки ещё почти неделя... я ощутил такое

Сиротство

, такую стужу в сердце и вспомнил, как папа водил меня в детский сад, зимой в страшный холод, — я шёл в шубе, в цигейковой шапке, замотанный шарфом, — руку мою, закованную в варежку, крепко держал папа, мы шли в темноте по Белорусскому мосту, а впереди в свете утренних фонарей шёл почти голый мужик — без пальто, без шапки, в одной лишь рубашке с коротким рукавом, — мужик был красен, и от него валил пар; папа, почему дядя без пальто? спрашивал я, — у него два сердца, говорил папа, одно слева, другое справа, — два сердца? изумлялся я, — ну, да, говорил папа, а что здесь такого? ведь он бессмертный, — что это — бессмертный? не понимал я, — стало быть, он будет жить всегда, вечно, не смущаясь, говорил папа; а ведь я уже знал, что этого не может быть: как-то мы с мамой шли бульваром у Никитских ворот, и, миновав памятник Тимирязеву, я спросил: мама, кто это? — великий учёный Тимирязев, сказала мама, — а почему памятник? не понял я, — потому что он умер, вздохнув сказала мама, — как это — умер? снова не понял я, — это значит, что его нет на свете, спокойно и терпеливо сказала мама, — а где же он? в растерянности спросил я, — умер, ещё спокойнее сказала мама... вечером я не мог уснуть, ворочался, пытаюсь осознать отсутствие человека, который *был*... ведь он *был*! куда же он теперь делся? этого нельзя постичь! — спустя годы я открыл газету и прочёл примерно такое: в Москве, на улице Горького сбит пешеход, водитель не пострадал, пешеход скончался, паталогоанатом больницы сообщил, что у погибшего было два сердца, подобные паталогии встречаются у человека крайне редко... вот и бессмертие, подумал я, вспомнив объяснения папы; так с нами умирает время, да и время ли? — умирают события, образы, мысли, оставшиеся в прошлом, — время стоит на месте, и только с уходом близких мы понимаем: грядущее наступило, то будущее, которое в прошлом должно было стать будущим, и вот — стало; время измеряется покинувшими нас родными и сколками судьбы, которые остаются на мутных фото и в нашей ненадёжной памяти; я роюсь в тяжёлых альбомах прошлого века, находя карточки из другой жизни: вот пятьдесят девятый год, деревня Мякинино,

Дача

, ну, дача, само собою, не своя, бабушка с дедушкой снимали для внука, — чтобы на воздухе, чтобы лес, речка, ягоды-грибы и всё такое... молочко, яички свежие... любил я там курочек гонять и брать из курятника тёплые, только что снесённые яйца... мама училась в педучилище, папа работал в школе, недавно начал, молодой специалист; денег у них отродясь не водилось, где уж там дачу покупать; в свой день рождения я обычно перебираю прошлое — фотографии его отчасти хранят; день рождения — это повод и возможность вернуться в детство, не впасть в него, боже упаси! а вернуться и вспомнить родителей, подаривших жизнь, и дорогих дедушку и бабушку, которые научили любить сельский труд и земличку, ведь она в аренде пока у нас, земличка-то, а уж скоро станет навек своей... мгновение прошло с пятьдесят девятого, и с пятьдесят седьмого, когда я явился свету... как быстро мы пролетаем над миром... дача в Мякинино! золотая пора, светлая деревня! ехать далеко было, а сейчас там — Москва и одноимённая станция метро; всё уходит, — ушли деревня Мякинино и поля пшеницы за Строгинской поймой, перевелись раки в Москве-реке, исчез из Садово-Кудринского двора старьёвщик, приехавший с тележкой шары-бары, умер советский

Первомай

, чудесный Первомай, который я ещё помню, он со мной и во мне, а многие его не знают; эти праздники я помню так: рано утром, едва заслышав грохот с улиц, я выбежал из коммуналки, из круглой раковины нашего парадного — на кольцо, по которому с диким лязгом шла тяжёлая техника, — танки, ракеты, тягачи и бронетранспортёры, а по сторонам Садового стояли толпы людей, восторженно смотревших на эту мощь, силу, великое достоинство, я тоже стоял, пробившись к самому краю тротуара, и небывалый подъём воодушевлял меня, — танки гремели траками, и сталь машин звенела, отзываясь на крики детворы, техника шла и вскоре уходила в назначенное место, оставляя по себе густой запах солярки и выбоины в асфальте; я с сожалением глядел вдаль, в сторону Маяковки, перебежал Садовое и устремлялся на Пресню, — Баррикадной тогда не было, была Краснопресненская, и там, возле метро, крутились уже нарядные дети, их свежие мамы и взбодрённые «Жигулёвским» отцы, которые скупали сухие коржики, флажки и воздушные шары, самодельные пишалки *уйди-уйди* и *тёщины языки*, которые, ежели в них подуть, показывали как раз длину и весёлое коварство языков гипотетических тещ... были и чудесные мячики на резинке, набитые тяжёлой тканью и обёрнутые разноцветной фольгой, — назывались вроде бы *раскидан*... были прямоугольнички песочных пирожных с коричневой глазурью поверх и лимонад «Буратино»... а ещё был парад трудящихся на Красной площади, и уже было тепло, и цвела сирень, и трудящиеся были полны надежд, потому что весна, потому что мир-труд-май, потому что впереди, наверное, другая жизнь... и вот прошло полвека, наступила *другая* жизнь... но это ещё должно было пройти полвека, а в *той* жизни по-прежнему оставался помянутый к ночи

Старьёвщик

, из-за которого меня хотели убить, и коли уж вспоминать, так вспоминать: старьёвщик являлся поутру в конце проулка, образованного длинной стеной дома, стоящего вдоль Садово-Кудринской, и бетонным забором индийского посольства, — фронт нашего окна позволял видеть весь проулок, а окно было огромное, двух метров в высоту, — открывалось оно внутрь, так как было забрано толстенными металлическими

прутьями, — встав на широкий подоконник и держась за прутья решётки, я смотрел в проулок, — в конце его слышался голос старьёвщика, и его манящая песня *старьёёё берёёёём!* возбуждала во мне частнособственнические инстинкты, ведь старьёвщик за всякий дрязг, доставленный *из* дому, давал нам цветные вертушки, весело жужжащие на ветру, петушков из жжённого сахара на палочках и солдатиков из олова, — солдатика были самым ценным товаром, их можно было менять и даже закладывать под игру в пристенок, — я любил старьёвщика, собирателя хлама и хранителя сокровищ; старьёвщик был мрачный ассириец, чернявый, небритый, многоволосый, глаза были у него как угли, — тележка этого оперного персонажа состояла из двух отделений: в маленьком лежали презенты, а в большом — тленный утиль; и вот лежу я как-то с ангиной, а мамы и папы дома нет, подрёмываю себе и вдруг слышу: старьёёё берёёёём! старьёёё берёёёём! — какая-то восторженная жажда жизни пружиной подбрасывает меня, я вскакиваю, одеваюсь и лезу под кровать, где лежат гантели папы, — с трудом допёр я их до тележки, полной всякой *шары-бары*, и торжественно вручил сказочному ассирийцу, тлеющие глаза которого вспыхнули и тут же погасли, — порывшись в малом отделении своей сокровищницы, он достал... перочинный ножик!.. нож! изумительную вещицу, украшенную перламутровыми накладками и стальной цепочкой, бог мой! ведь это было сокровище... но что ждёт меня впереди? папа применит ко мне высшую степень пристрастного допроса и, не беря во внимание ангину, выпорот как *сидорову козу*... что я наделал! мне конец! — пропажу папа обнаружил почти сразу, и первое подозрение пало на меня... а на кого же ещё? маме-то зачем папины гантели? мама с папой оценили ножик, особенно отметив переливчатый перламутр, а потом папа сказал: убьём его? — убьём! сказала мама, и я всю ночь не спал, боясь, что родители меня убьют — зарежут или задушат... в ангинам жару я бредил, и мне представлялось, как папа, взяв мой прекрасный нож, медленно подходит ко мне и с яростным выражением лица заносит над моим горлом блистающую сталь! утром мне стало много хуже, температура скакнула к сорока, маме пришлось остаться дома и вызвать «скорую»... слава Богу, случилась эта ангина, не то пасть бы мне от руки родителей в самом нежном возрасте! и остались бы втуне вести о том, что было, чего не было, но могло быть, о людях, ставших почвой страны, в которой прочно стоит мой фундамент, ведь это они *сделали* меня, потому я и есть плоть от плоти и кровь от крови тех, кто ушёл давно или недавно, и вот тому самое точное, верное и непререкаемое

Подтверждение

: в 2023-м я обнаружил в маминой квартире самую настоящую машину времени, — там с прошлогоднего ремонта осталась нетронутой входная дверь, и я решил привести её в порядок, доведя до состояния изумительного совершенства; в 1967 году она была обита дерматином, как это делалось в советское время, то был такой советский шик: на дверь крепился утеплитель, который сверху декорировался этой самой искусственной кожей... тепло- и звукоизоляция такая; сорвал я, стало быть, старый дерматин и обнаружил под ним много хлама: куски одеял, тряпки, вата, и вот среди этого добра нахожу вдруг свою младенческую распашонку и детсадовские штанишки с фамилией, вышитой цветными нитками... фантастика... что ещё сказать? как определить сей исторический сдвиг, это мгновение бытия, не значащее ничего в бесконечной мировой истории? почти шестьдесят лет пролежали эти вещички в двери и вот открылись... уже и мамы нет, и папы нет... бабушек и дедушек нет, люди уходят, а вещи остаются... время стоит на месте и измеряется не годами, а нашими покойниками; это земля нашей малой родины и время нашей большой Родины, скоро уж и я стану частью общего и свижусь с теми, кто жил со своей страной одной жизнью и теперь уж останется с ней навеки...

Татьяна Дубянская

Скрепты по-индийски: между мечтой и реальностью

Редко встречаются такие выходцы из Южной Азии, кто негативно оценивал бы влияние своей семьи и отрицал бы крепкие связи с родными. Если для начальника Юрия Деточкина поездки к родственникам, якобы живущим «в разных городах Советского Союза», были удивительным фактом, то в Индии отпрашиваться со службы на два-три дня ради посещения семейного мероприятия — вполне обычное дело. Большие собрания родни и друзей могут происходить по самым разным поводам — это не только дни рождения, помолвки и свадьбы, но и различные религиозные обряды и ритуальные мероприятия типа первого кормления младенца рисом, освящения нового дома, поминовения предков. Десятки гостей — норма для рядового события; на свадьбы приглашаются уже сотни — неважно, проводят ли праздник в деревне или в пятизвездочном отеле.

По-настоящему глубоко проникнуть в индийский семейный мир удастся в первую очередь тем иностранцам, которые заключают браки с индийцами (в индийские семьи входят чаще всего женщины-иностранки, хотя есть и примеры, когда индианки выходят замуж за чужеземцев). Доступными, но и поверхностными, источниками знаний об индийской семье можно считать массовый кинематограф, где почти в каждом фильме развивается какая-то любовная история и дело завершается свадьбой, и телевизионные мыльные оперы, где нешуточные страсти разворачиваются на фоне семейных обрядов и пышных празднеств. Попробуем пройти в узкие ворота между глянцевым киномиром и наполненной мелкими жизненными деталями повседневностью, чтобы выделить важнейшее для понимания устоев среднестатистической индийской семьи.

Шади: начало всех начал

Специалисты по разным регионам и языкам Индии сходятся во мнении: если вслушаться в то, о чем говорят люди на улицах индийских городов, то ухо уловит две основные темы — свадьба и еда. Про еду еще можно понять, ведь пищу человек потребляет несколько раз в день, но женятся или выходят замуж гораздо реже. В Южной Азии свадьба — важнейшее событие не только для самих молодоженов, но и для их «расширенных» (от ближайших до самых дальних родственников) семей

Дубянская Татьяна Александровна — специалист по языку и литературе хинди и культуре современной Индии, потомственный индолог. Доцент Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ. Живет в Москве.

и очень радостный повод для всех окружающих — друзей, коллег, соседей, слуг... В индийских семьях столько родственников, что за год легко получить десятки красиво оформленных приглашений на торжества.

Великая индийская свадьба — многодневное, насыщенное эмоциями, красками и звуками событие со сложным сценарием, включающим подготовительные и завершающие ритуалы и религиозные обряды. *Вивах, бийе, кальянам, лагна, веддинг* — так по-разному называют свадьбу на севере, востоке, юге и западе Индии. В разговорном хинди и в урду ее именуют персидским словом *шади* — «счастье», «радость».

В индийском кинематографе, известном своими развлекательными, мелодраматическими, сентиментальными историями, тема свадьбы эксплуатируется очень давно, но именно Болливуд 1990-х годов открыл в свадебных церемониях особый зрелищный потенциал. В кинокартинах на хинди «Кто я для тебя» (1994) и «Непохищенная невеста» (1995) были воссозданы настолько притягательные, подробные, но вместе с тем энергичные и веселые свадебные сцены, что вскоре пышные торжества с экрана стали переходить в жизнь. На рубеже нового тысячелетия свадьбы индийского среднего и высшего класса приобрели невиданный ранее размах и сделались еще более затратными, чем раньше.

Заключение брака — это то, чего общество ожидает от всех своих членов, ведь рождение потомства, пожалуй, главная добродетель, если не сказать долг, для индийцев всех конфессий. И если мужчина-индус, стремясь к духовному развитию, традиционно может выбрать для себя жизненный путь, связанный с *брахмачарьей* — воздержанием от сексуальных контактов, — либо просто оставаться холостяком, то для женщин невступление в брак, даже в современном обществе, — сложный выбор, встречающий большое сопротивление семьи и социума. В некоторых контекстах (например, для деревенских жителей, для женщин из традиционно настроенных мусульманских общин и т.п.) остаться незамужней означает пойти на небезопасный шаг, в котором могут увидеть угрозу традиционным ценностям.

Сначала брак, потом любовь?

«Какая еще любовь-морковь?! Свадьба — только по договоренности!» — произносит с вызовом нью-йоркская бабушка пенджабского происхождения в фильме на хинди «Наступит завтра или нет» (2003). Даже представители обширной индийской диаспоры в Великобритании, США или Канаде нередко соглашались с тем, что ответственность за брак лежит на плечах родителей и старших родственников. Традиционно в Индии именно старейшины семьи выбирали партнеров для своих детей, вели сложные переговоры о заключении брака, обсуждали гороскопы, приданое и прочие аспекты взаимоотношений двух кланов. Браки по договоренности (сейчас это явление, как правило, обозначают английским словом *arranged marriage*) распространены и в Индии XXI века, но теперь такие союзы редко заключаются без хотя бы формального согласия самих молодых.

Классические произведения индийской литературы XIX — XX веков описывают как норму браки «вслепую» — когда жених и невеста вообще не встречаются до свадьбы и не имеют представления даже о внешности друг друга. На этом построен, например, сюжет романа «Крушение» Рабиндраната Тагора (1906): возвращаясь на лодке с собственной свадьбы, герой попадает в бурю; очнувшись на берегу, он находит рядом девушку в свадебном сари, которую принимает за свою жену, она тоже считает его своим мужем, они продолжают путь вместе. И только спустя некоторое время мужчина начинает подозревать, что его спутница — чужая невеста.

Уже в современной Индии, еще несколько десятилетий назад, в городской среде согласие на брак давалось после короткого — часто за чашкой чая — разговора

молодых людей. Их следующая встреча происходила уже во время свадебной церемонии. Сейчас будущим супругам позволительно встречаться друг с другом после объявления помолвки. При этом неуклонно растет число так называемых *love marriages* (браки по любви). Романтические киноистории сыграли роль и в отношениях между полами: молодые люди все больше мечтают о любовных отношениях, как в индийских мелодрамах, и заводят романы со сверстниками. Хотя в целом браки по любви многие до сих пор считают вредным последствием западного влияния, к началу XXI века общественное мнение претерпело значительные изменения. Все чаще люди готовы признавать ценность чувств, даже когда отношения требуют социального, а то и религиозного компромисса. В индийском кино такое количество влюбленных героев выстояло в борьбе с авторитарными родителями и смогло переломить установки социума, что эти выдуманные примеры придают сил и реальным парам, сталкивающимся с железной волей старших поколений. Если по стечению обстоятельств влюбленные происходят из социально близких слоев, относятся к одной религиозной общине и имеют хорошие перспективы профессионального роста, то в городской среде шансы на одобрение такого союза высоки.

В то же время количество браков между представителями разных конфессий в Индии оценивается всего в два процента — это притом, что индуисты, мусульмане, сикхи, христиане и люди иных вероисповеданий живут, учатся и работают бок о бок. Межконфессиональные союзы — тема довольно болезненная для Индии, и даже кино подходит к ней с осторожностью, опасаясь спровоцировать недовольство зрителей. На экране союзы мусульман и индуистов (или сикхов) обычно выдерживают проверку на прочность, но есть и сюжеты с трагической развязкой. В жизни межконфессиональные браки привлекают повышенное внимание как в позитивном, так и в негативном смысле. В индийском бомонде (кинозвезды, музыканты, спортсмены, бизнесмены) есть множество заметных индо-мусульманских пар. Однако рядовые индийцы, решившиеся связать жизнь с партнером другой веры, нередко сталкиваются с открытым осуждением. Сейчас в прессе горячо обсуждают так называемый любовный джихад — как полагают, существующую в мусульманской среде практику заводить отношения с девушками других конфессий, чтобы инициировать их переход в ислам.

Поиски брачных партнеров обычно ведут по нескольким каналам — это сарафанное радио, службы знакомств и специальные matrimониальные объявления в газетах и на сайтах в Интернете. Рубрика *Matrimonials* в индийских газетах — чтение поучительное, в чем-то развлекательное и для непосвященных довольно сложное. Такие объявления наглядно демонстрируют, насколько важны для современной Индии касты¹, как учитывается кастовое происхождение при создании семьи, какие кастовые привилегии существуют. Большинство объявлений сразу распределяются по разделам, соответствующим кастам и *варнам*², а также национальным сообществам

¹ *Касты* — термин, которым обозначают социально-этнические группы в индийском обществе. Принадлежность к касте (в Индии используется слово «джати») определяется рождением и связана с наследственной профессией, смена касты — явление довольно редкое. В Индии насчитывается несколько тысяч каст и десятки тысяч подкаст. Они существуют как юридическое понятие, связанное со специфической социальной структурой индийского общества, но Конституция Индии запрещает дискриминацию по кастовому признаку. Существуют списки так называемых угнетаемых каст и отсталых сообществ и племен, представители которых имеют льготы при получении образования и поступлении на работу, то есть закон обеспечивает некоторым низким кастам привилегии. Предполагается, что браки должны заключаться внутри одной касты или между представителями смежных каст, но сейчас это требование соблюдается менее жестко.

² *Варна* — букв. «цвет», «класс», «раздел», в древнеиндийском обществе — подобие социального класса. В эпоху Вед (примерно середина второго — первого тысячелетий до н.э.) появилась концепция четырех *варн*. Деление на *варны* было связано с профессией: так, *брахманы* выполняют духовные и жреческие обязанности, *кшатри* — воинские, *вайшьи* связаны с производством и торговлей, а *шудры* были, скорее всего, обслуживающим классом. Современные касты, как правило, распределены по четырем варнам.

Оулав Гюннарссон

Иосиф Бродский в Исландии

Из книги «Грант для художников»

С исландского. Перевод Ольги Маркеловой

Книга «Грант для художников» (2018), жанровую принадлежность которой автор определяет как роман-мемуары, описывает социум исландских художников и писателей в 1960—1970-е годы. Однако круг общения автора в те десятилетия ограничивался не только соотечественниками...

Весной 1978 года Дэвид МакДуфф¹ прислал мне телеграмму: он просил встретиться его в Кеплавикском аэропорту. Я в ту пору закончил работу над первым вариантом моего первого романа «Миллион процентов человек» и по какому-то непонятному порыву послал Дэвиду начальную главу. А он прислал мне её назад — уже на английском! Я вскрыл конверт в кафе «Мокка» и благоговейно прочитал перевод. Прежде мне не доводилось видеть ни буквы из собственных произведений на других языках, кроме исландского. Вскоре мне пришло ещё одно письмо от Дэвида. Он послал ту главу солидному американскому издательству, нью-йоркскому Grove Press, и там все пришли в восторг. Я решил, что вот-вот удостоюсь всемирной известности.

Дэвид родился в Эдинбурге в 1944 году, вырос там же. В двенадцать лет он попросил в подарок ко дню рождения книжку по исландской грамматике.

Вот таким оригиналом он был.

Больше всего Дэвид МакДуфф напоминал человека-фламинго. На званых вечерах он имел такой же вид, как эта величавая, но причудливая голенастая птица, когда она вышагивает по мелководью или тростникам и копошится длинным носом в тёплом иле. А Дэвид копошится в русской литературе XIX века и на званых вечерах разговаривает с окружающими его культурными птицами разом на десяти-пятнадцати языках.

Я посвятил в ситуацию Эйюльва Халльдоурсона — Эйюльва-банкира, который взял на себя роль нового Эрленда из дома Уны². Он раздобыл денег, чтоб Дэвид мог

Оулав Гюннарссон (род. в 1948 году в Рейкьявике) — крупный современный исландский прозаик, автор многочисленных романов. Его роман «Церковь троллей» (1992) был удостоен Исландской литературной премии и Дублинской литературной премии (IMPAC Dublin Literature Award).

Редакция признательна писателю за предоставленное право опубликовать главу из книги «Грант для художников» на страницах «ДН».

¹ Английский переводчик Оулава Гюннарссона.

² Эрленд Гвюдмюндссон из Дома Уны (Erlendur Guðmundsson í Unuhúsi (1892—1947) сдавал комнаты и объединил под крышей своего дома множество деятелей исландской культуры. Неоднократно упоминается в прозе исландских писателей XX века, посвящённой Рейкьявiku.

приехать в Исландию для работы над переводом. Я уступил ему мой кабинет на чердаке дома на улице Фраккастиг¹, а сам стал работать на кухне на нижнем этаже. Сейчас над одной и той же книгой в одном и том же доме трудились на двух языках.

Дэвид привёз из дьюти-фри гору сластей и бутылку виски «Грантс».

Мы ознаменовали возобновление нашего общения, распив эту бутылку. За окном внезапно настало утро, между улицей Фраккастиг и горой Эсья — спокойное море, на столе появилась очередная ополовиненная бутылка брэннивина², а Дэвид начал звонить по всему миру. Когда выпьет, он чрезвычайно расположен к телефонным звонкам среди ночи. Сквозь хмельной туман он заявил мне: «Иосиф хочет приехать».

— Скажи Иосифу: пусть приезжает, — ответил я.

— А деньги у нас есть? — осведомился МакДуфф.

— Конечно, — ответил я. — В мире, дружище, денег предостаточно, проблема только в том, как их добыть, — процитировал я своего дядю, крупного бизнесмена Аусбьёртна Оулавссона.

— Значит, мне сказать ему, чтоб приезжал?

— Да, отлично, — ответил я.

Проспавшись, я выяснил, что, оказывается, пригласил в Исландию русского по имени Иосиф Бродский. Я раньше не слышал такого имени и сказал Дэвиду, что это, наверно, какая-то ошибка. Тогда он ужасно расстроился и сказал: Well, if you don't want to invite him, don't³, — а поскольку мне всегда тяжело видеть, как другие грустят, я позвонил Эйюльву-банкиру, посвятил его в суть дела и попросил денег на самолёт, — и не прошло и десяти минут, как Иосиф Бродский уже получил билет на руки в авиакомпании «Флюглейдир» в Нью-Йорке и, как я потом узнал, принялся раздумывать, не использовать ли этот билет для поездки на Багамы. Он думал, что «Оулав Гюннарссон» — это название университета, приглашающего его в Исландию. Ведь в Америке очень богатые университеты нередко присылают поэтам авиабилеты, в надежде, что кто-нибудь вдруг надумает заглянуть к ним и почитать свои стихи.

Дэвид рассказал мне о Бродском. Уже с юности тот прослыл самым многообещающим русским поэтом двадцатого века, но когда стихи появились в печати, его сослали в Сибирь⁴. На процессе судья спросил Иосифа, есть ли у него диплом поэта. Бродский ответил: «Диплома нет, потому что поэзия — это от Бога».

Из Сибири он освободился при поддержке поэта У.Х.Одена. Оттуда его путь лежал в Америку — и там Бродский явно не бедствовал. Перед приездом в Исландию он получил от какого-то фонда двести тысяч долларов на покупку жилища и сейчас пытался решить, не приобрести ли ему домик в горах Исландии или Ирландии.

Итак, в пятницу в июне 1978 года Иосиф Бродский прибыл в Исландию. В то утро я проснулся рано, заварил кофе, как подобает молодому писателю, и сидел вычитывал текст, который должен был принести мне мировую славу, — и вдруг всемирно известный поэт встал на пороге моей кухни с чемоданом в руках, а за спиной у него стоял Дэвид. Иосиф радостно улыбнулся мне и сказал: I can see that there is some literature going on⁵.

¹ Улица в центральном районе Рейкьявика, рядом с Национальным театром.

² Исландский крепкий алкогольный напиток на картофельном спирту.

³ Ну, не хочешь приглашать его, так не приглашай (*англ.*).

⁴ Так английский переводчик интерпретировал высылку Бродского в дер. Норенское Архангельской области (март 1964—октябрь 1965).

⁵ Я вижу, здесь делается литература (*англ.*).

Дэвид:

— Да, ты, наверно, помнишь, я тебе говорил, что он писатель.

— Ну, значит, это не университет, — обрадовался Бродский. — И не кампус.

— Нет, это всего лишь он, — сказал Дэвид.

Иосиф Бродский был довольно низкого роста, с жидкими волосами, по-исландски его, наверно, уместно было назвать упитанным: у него образовалось брюшко от гамбургеров. Исландия ему не очень понравилась.

Когда самолёт приземлился, он подумал, что попал на Луну; когда его везли по проспекту Кринглюмирарбрёйт, ему показалось, что он в советской Риге; а во время поездки по Лейгавег¹ он готов был поклясться, что угодил в Нью-Йорк.

Иосиф Бродский лёг спать светлым днём, и когда он проснулся, тоже был светлый день, и его ждал обильный завтрак. Была пятница в июне — а в доме по адресу Фраккастиг 6А такие дни обычно бывали чудесными, потому что из окна гостиной было видно, как по улице непрерывным бурным потоком идёт толпа, спешащая в винный магазин. В волнах этого потока покачивалось много светлых голов — а вот, кажется, и Сигюрд Эрлюгссон², покачиваясь, проплыл мимо. По пятницам я часто развлекался так: сидел за столом в гостиной у открытого окна и вылавливал человека-другого из этого потока.

Я пошёл на чердак, чтобы разбудить Бродского: ведь мне не терпелось устроить пир на весь мир. Я сильно влез в долги, чтобы привезти его в Исландию. Я постучался и слегка приоткрыл дверь, — и тут Иосиф проснулся, вскочил и стал шарить в воздухе перед собой руками. На нём были очки для сна: из ткани с подкладкой. Их он купил специально для поездки на север, для белой Ивановой ночи. Он долго возился, пытаясь снять эти очки.

Наконец он спустил их и вспомнил, что он в Исландии. Я сказал ему, что сейчас мы пойдём есть и пить.

— Отлично! — сказал Бродский и извлёк из своего чемодана бутылку водки и бутылку виски.

А потом он меня удивил:

— В Исландии кэ́гэбэ́шников много?

— Кого? — не понял я.

— КГБ, — сказал Бродский. — Их тут много?

— Нет, не думаю, хотя не уверен. Я их плохо отличаю.

— Тогда это буду делать я, — сказал Иосиф.

Мы направились за стол, и я сел так, чтоб видеть конец улицы. Время было — пять часов, и в винный магазин уже хлынула толпа. Я заметил в ней одного моего друга — большого любителя выпить. Он брёл вниз по улице в тёмных очках и в шляпе. Щёки у него были пунцовыми.

Мы где-то раздобыли ящик пива и едва начали разливать по стаканам, как в дверь позвонили.

Это был тот друг, которого я увидел в окно. В руках у него была бутылка портвейна, из которой он уже успел сделать два-три мощных глотка и ожить. Я пригласил его в гостиную.

— Кто это? — спросил он, указывая на Бродского.

— Очень знаменитый русский, — ответил я. — Великий поэт.

¹ Одна из центральных улиц Рейкьявика. На ней расположено множество баров и магазинов.

² Исландский художник (1946—2019).

— А-а, знаменитый, — сказал мой друг по-английски, садясь за стол. — Вот я тоже однажды чуть не стал знаменитым. В Риме.

— Oh yeah! — ответил Иосиф Бродский, и это «йе» прозвучало удивлённо.

— Дело было вот как. — Мой друг поправил тёмные очки на носу. — Я был в Риме в ночном клубе, и вдруг к моему столику подходит человек, представляется и говорит: You look like a moviestar. I an a film director and I am going to make you a star¹.

— А дальше? — спросил Бродский.

— А дальше ничего, — ответил мой друг, немного помолчав. — Я его больше не видел. Так что мувистаром я не стал.

— This was a sad story², — произнёс Бродский и осмотрелся, чтобы удостовериться, все ли с этим согласны. Он взял кусок сушёной рыбы и стал задумчиво разглядывать его. — О, я знаю, что это, — с этими словами он положил кусочек обратно на блюдо. — По вкусу как старая подошва.

Пока Бродский спал в своих очках для сна, Дэвид читал мой рассказ «Пинагор»³, о котором Оулав Йоунссон так тепло отозвался, а Флоуки⁴ проиллюстрировал, — и сейчас он пересказывал его по-русски. Бродский угощался селёдкой, тонкими лепёшками и заварным ржаным хлебом, а потом съел большой шмат бараньего паштета и всякого рода колбасу и сосиски, и ещё немного водки, а потом целое яйцо всмятку, которое вскрыл ножом так, что к нему на тарелку как будто выкатилось само солнце, — и всё это было таким красивым, пышным, ведь я уже попробовал русской водки, которую он принёс к столу; и вдруг внесли целый добротный окорок варёно-копчёной баранины, который буквально умолял о том, чтоб его полили горячим белым соусом, чтоб к нему прижались куски алой свёклы, чтоб его ласкали горячие картофелины, буквально жаждал, чтоб его увенчали листовыми хлебцами и солнечно-жёлтым маслом. В доме по адресу Фраккастиг 6А кушанья сыплются словно из рога изобилия, — а на улице сияет июньское солнце, и народ спешит в винный магазин, и Эсья такая синяя... «Эсья синяя, а мы все братья», — вспомнил я фразу, которая, по мнению Альфреда Флоуки, очень хорошо передаёт всю безмозглость поколения хиппи. И я налил в свой стакан ещё водки и увидел перед собой поющий казачий хор посреди золотой нивы, волнуемой под горячим ветром — вот как чудесна русская водка, — а Бродский отправил в рот толстый ломоть варёно-копчёной баранины и сказал: — Это лучшее мясо в мире! — А Дэвид закончил пересказывать ему «Пинагора»: это рассказ о женщине, которая увидела, как её муж в минуту смерти превратился в самца рыбы пинагора, но не знала, что в этот же миг сама превратилась в самку.

— Tegífić!⁵ — сказал Бродский.

Всё было великолепно, весёлый пир в разгаре! Мой друг, который чуть не стал знаменитым в Риме, направился домой.

— А вот этот чем занимается? — спросил Бродский.

— Понятия не имею, чем он сейчас занимается, — ответил я

— Судя по внешности, он может быть и сотрудником КГБ, — сказал Бродский.

— Возьми селёдки, — предложил Дэвид МакДуфф.

Бродский подцепил кусок селёдки на зубчик вилки и стал рассматривать.

¹ Вы похожи на кинозвезду. Я режиссёр и сделаю из вас звезду (англ.).

² Грустная история! (англ.)

³ Название промысловой рыбы (Cyclopterus lumpus).

⁴ Выдающийся исландский художник Альфред Флоуки (Alfreð Flóki, 1938—1987). Именно ему посвящена большая часть книги «Грант для художников».

⁵ Замечательно! (англ.)

— Селёдка — это „herring“, — произнёс он. — Рифмуется со словом «Геринг». Геринг — херринг. Херринг — Геринг.

— А что слышно про КГБ? — спросил я.

— Я могу рассказать историю про КГБ, — ответил Бродский. — Вот такую: не так давно на одной фабрике (где, не скажу, но всё это было на самом деле), выяснилось, что значительная часть готовой продукции так и не доходит до учётчиков. А это была фабрика игрушек, и выпускала она исключительно заводных уточек. И вот, на выходе поставили охранника из КГБ, чтоб он обыскивал всех проходящих, но уточек ни у кого не обнаружилось. Однако они продолжали исчезать. И вот из Москвы вызвали самого большого начальника КГБ, он долго ломал голову и наконец выяснил, в чём дело. Посреди фабрики в полу был водосток, а труба выходила в канаву, и кто-нибудь поднимал решётку на этом водостоке и ставил заведённую уточку в трубу, и она сама шла по трубе и падала в канаву, так что в конце рабочего дня её можно было забрать там, — и обвинить некого, потому что эти уточки уходили с фабрики сами¹. — They left the factory by themselves², — со смехом рассказывал Бродский. — Yeah!

— Когда я был в России, — стал делиться воспоминаниями Дэвид, — со мной в одной комнате жил парень, который так храпел, что мне даже пришлось выписаться из дома свои беруши. Этот сосед по комнате всегда ходил серьёзный, никогда не улыбался. И однажды он отправился на встречу со своей матерью, которая приехала в гости в Москву, и его угостили водкой, и домой он вернулся с огромной банкой паштета, которую захотел непременно подарить мне. А потом расплакался: мама рассказала, что ему девушка изменила. А после этого он встал и выбросился в окно; но в тот день снег со всего района стрёбли в большую кучу перед нашим домом. Жили мы на десятом этаже. Мой приятель приземлился прямо в этот сугроб, сжимая в охапке свою банку паштета. А позже я выяснил, что он сотрудник КГБ, и в комнату его подсадили, чтоб он следил за мной. Но этот паштет, который сделала его мама, был просто — пальчики оближешь!

— Уж в этом я не сомневаюсь, — ответил Бродский. Он встал из-за стола и сейчас разглядывал мою книжную полку. Оттуда он снял экземпляр «Братьев Карамазовых» Достоевского, тщательно оглядел его и произнёс: — Greatest author who ever lived³. — Книга была нечитанная, гладкая, девственно-чистая. Он поставил её обратно на полку и снял оттуда потрёпанный, зачитанный до дыр том — «Тихий Дон» Михаила Шолохова — горячо любимого мною писателя. Бродский печально посмотрел на этот истёртый экземпляр «Тихого Дона» и спросил: — Why all this Sholokhov?⁴

— Потому что он великий писатель, — ответил я.

— It's sad, — сказал Бродский, повернулся к Дэвиду, указал ему на меня обличительным жестом и произнёс, — David, we have to do the job on this guy⁵.

Тут в дверь постучали. Пришли Эйюльв-банкир и Хильмар Эртн Хильмарссон, колдун⁶. Хильмар нёс на плече свою котомку, в которой у него лежала книга Алистера Кроули, а в придачу к ней колода Таро. Он достал карты, разложил их на столе разноцветным сияющим кругом и начал гадать:

¹ Ср. пересказ этой же истории в записных книжках С.Довлатова.

² Они уходили с фабрики сами (англ.).

³ Величайший из когда-либо живших авторов (англ.).

⁴ Зачем весь этот Шолохов? (англ.)

⁵ Это печально... Дэвид, нам придётся поработать с этим парнем (англ.).

⁶ Хильмар Эртн Хильмарссон (Hilmar Örn Hilmarsson, род. 1958) — композитор, ныне глава Языческой общины Исландии.

— Так, здесь карта «повешенный»... это не к добру... Хотя постой-ка, она в прошлом, очевидно, означает те два года в Сибири, а со временем «повешенный» переворачивается, и тогда его значение изменяется. А вот «солнце»... Ничего себе, не иначе как вас ждёт какая-то огромная слава? Но не скоро, а лет эдак через семь-восемь, а может, и девять. Наверно, какая-нибудь литературная премия. А чем чёрт не шутит, вдруг Нобелевская?

Бродский ошеломлённо посмотрел на Хильмара.

Эйоульв-банкир погладил свою бороду и пригласил всех в гостиницу «Хольт». Он давал там банкет; подносы с толстыми ломтями жаркого то и дело влетали в зал. Я насчитал на столе четырнадцать бутылок рейнского вина. В толпе всё прибавлялись новые лица.

И вдруг участники банкета разошлись, и вот я уже один посреди толкучки в подвале Национального театра. Я тщательно рассматриваю окружающих, и мне становится ясно, что каждый из них таинственным и сложным образом связан с КГБ и что вообще в этот вечер сотрудники КГБ проводят в подвале Национального театра глубоко засекреченный слёт. Я заказал тройной «Баккарди» с кока-колой, сел в уголке и постарался не привлекать к себе внимания.

Проснулся я рано и вышел на кухню попить воды, — а там стоит Иосиф Бродский, а вид у него слегка пристыженный: он вытащил из холодильника бараний окорок и уже успел отщипнуть себе кусочек.

— Странно, — сказал он, — когда я возвращался домой из подвала Национального театра, то увидел в небесах над Эсьей ангела.

— Рад слышать, — ответил я. — It's the white night!¹ Иванова ночь.

На следующий день Иосиф Бродский — поэт-изгнанник — выступал в маленьком зале «Радуга» и читал стихи по-русски так поэтично и певуче, что потребности в переводчике не возникало; и я поверил, что ночью накануне он и впрямь видел ангела. И вдруг я чувствую: по щекам у меня катятся слёзы. «Никто не должен видеть, что я тут разревелся», — подумал я и осмотрелся украдкой — и увидел, что у всех остальных в зале — то же самое.

¹ Сейчас белая ночь (англ.).

Константин Шакарян

Парадокс о критике и эпохе

Размышления над книгой Владимира Зелинского «Разговор с отцом»

...Костра я не разжёл, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он всё ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник, —

так писал Илья Эренбург в стихотворении 1964 года, названном знаково: «Люди, годы, жизнь». «Истоптанный, но мыслящий тростник» — метафора нескольких поколений советской интеллигенции (а может быть — и всей русской), как трава, пробивавших честным и преданным служением слову некогда глухой идеологический асфальт. Метафора эта, увы, неотменима не только с точки зрения исторической, но и по прискорбной актуальности её в наше время: разве нет сейчас таких же идеологических асфальтовых покрытий, норовящих всё подмять под себя, асфальтируя историю (будем говорить лишь об истории литературы) на свой манер? Разве не приходится и сегодня многим из пробивавшихся ранее всё ещё мучительно доказывать своё право на жизнь сквозь общий хор отрицаний?..

На размышление об этом и многом другом наводит книга «Разговор с отцом» — книга Владимира Зелинского, отца Владимира, о его отце — Корнелии Зелинском. Книга человека, посвятившего свою жизнь служению Церкви и Слову Божьему, об известном советском критике, одной из центральных фигур литературного конструктивизма и одной из самых неоднозначных личностей в истории советской культуры — в «неоднозначности» репутации которого, как в зеркале, отразились многие горчайшие противоречия его времени. «Моя правда отталкивает ту, в которую был волей или неволей затянут отец, не выносит её с юности, — пишет В.Зелинский, — но понять его можно только в эпохе, куда он, как говорили экзистенциалисты, оказался заброшен». Попытка понять отца и эпоху — сквозь одну судьбу её современника, поделиться этим пониманием с читателем — вот сокровенная цель этого непростого, напряжённого и светлого «Разговора».

В самом факте его написания намечен словно бы некий парадокс, означенный редкой амплитудой: с одной стороны, читатели Зелинского-отца, с другой — Зелинского-сына, приверженцы (если таковые ещё есть) теоретика конструктивизма и единомышленники религиозного писателя... Поистине, «покрыть такие огромные

временные и мировоззренческие расстояния, скрепить их в книге — под силу только любви. Любовь в конечном счёте и есть «сокрытый двигатель» повествования Владимира Зелинского.

Главное чувство, которое нарастает при чтении книги — ощущение того, что, чем дальше сам автор заплывает в этот разговор «с последней прямой» двух поколений на фоне двух тысячелетий, — тем больше любит он своего отца, будто всё сильнее привязывается к нему. Это безотчётное ощущение, которое никак нельзя поверить какой бы то ни было логической «алгеброй» — уже хотя бы потому, что читатель, конечно, не может знать, в какой очерёдности создавались главы (вполне возможно, что совершенно не в той, в какой они собраны в книгу).

Ощущение это как бы кристаллизуется в главке «Мы будем молиться вместе». Маленькая эта главка — сама как сгущённая книга, трактат, немного поэма, поучение (в высоком смысле слова) и — бесценный, порывистый и волнующий духовный документ, который, как думается, не может не затронуть читателя, независимо от его опыта и взглядов. Дальше идёт своего рода крещендо, нарастание темы — в главке о лесе («Лесное братство»), а затем и — беглом и чрезвычайно интересном портрете отца в быту, последним штрихом к которому — и шире, к портрету времени, — становится то, что чаша милости перевешивает чашу справедливости: «Сыновнее почитание стучится в дверь непостижимой милости Божией...»

Разумеется, в сказанном нет никакого противоречия с той «последней прямой», которая была отмечена выше, и речь тут, как мы увидим, вовсе не о «скидках» на время и эпоху.

* * *

К замечательно стройной — до режущей остроты — концепции истории прошлого века (а конкретнее — советского периода), изложенной в книге В.Зелинского, добавить нечего ни в качестве читательского отклика, ни тем паче какой бы то ни было полемической реплики. Её, эту выстраданную концепцию, можно лишь принять с глубоким уважением, ступая вслед за авторской мыслью от страницы к странице. В начале книги поставлен диагноз (он же здесь — своего рода камертон): «Это была запёртая в подполье сила мифа». И далее, ещё более определённо: «Весь 70-летний с чем-то путь коммунистического режима — это история единого мировоззрения, то есть раздувшегося до небес мифа, который жил своей жизнью».

«Но и мифы читают по-разному, — отзываются во мне некогда сказанные по тому же поводу слова современника Корнелия Зелинского и его эпохи, критика следующего за ним поколения Владимира Огнева. — О пошлом прочтении мифов тоже не стоит забывать».

Пошлых прочтений советского мифа за прошедшие десятилетия было предостаточно. Я недаром вспомнил Владимира Огнева, одного из немногих, кто пытался идти поперек такого рода прочтений — написав и опубликовав в 1990 году горькую и мудрую статью «Бегство от революции», а затем и не одну книгу воспоминаний и размышлений. Владимир Зелинский — человек совершенно иных взглядов и убеждений, но сейчас мне интересно отметить, как обоих — и советского критика, атеиста Огнева, и священника, религиозного писателя и философа В.Зелинского — поднимает над пошлыми прочтениями сама любовь (прежде всего она). Кто-то может вздохнуть вслед за Фетом: «Но жаль того огня...», продолжая свято любить тот огонь, что просиял некогда над новой эпохой и нашел воплощение прежде всего в поэзии — в стихах Маяковского и Пастернака, Цветаевой и Есенина, Тихонова и Сельвинского, — а кто-то «ставит свечу в давно опустевшем отцовском жилище, чтобы осветить один из миллионов путей этой бури, прошедшей через одну человеческую жизнь».

Это разные «огни», но пламя свечи имеет в себе отсвет и «того огня». Ведь в отце сконцентрировано его время, они неотделимы друг от друга, а отец, по слову В.Зелинского, «как с ним ни спорь, живёт и во мне». Круг огня замыкается.

В конечном итоге попытка разговора, предпринятого в книге, — акт в равной степени и прямого человеколюбия, и некоего косвенного самопознания. Ибо «жизнь отца — послание, оставленное Господом детям, всё ещё не прочитанное до конца».

Здесь необходим диалог эпох, мировоззрений, поколений. Такой разговор не дается легко, медленно вызревая в одном времени — навстречу другому. И неслучайно порой, как бы в ответ сыну, читателю слышится голос его отца. Вот, к примеру, Владимир Зелинский пишет об идеологическом дискурсе, который с годами стал «как бы необходимой рамкой для всякого литературного или философского словесного акта». Эта мысль, в соединении со многими близкими ей, вырастает в значимое обобщение замкнутости мира-мифа, о котором речь. И тут во мне, читателе нового века, откликается Корнелий Зелинский: «Шахматы тоже являются замкнутой системой, где оборачиваются и сплетаются в комбинации раз навсегда установленные величины. Только практическая неисчерпаемость этих комбинаций создаёт впечатление творческой стихии. Стены клетки так далеки, что мы их не замечаем» (из книги «Поэзия как смысл», 1929).

Это, конечно, сказано совершенно о другом и в другом контексте, и однако возникает ощущение, что в этой цитате, поставленной в нынешний контекст, есть некое потенциальное эхо «неоконченных споров» времен и поколений. «Комбинации» действительно были неисчерпаемы, а «стены клетки» иногда и впрямь далеки и незаметны. Вот эту «шахматность», какую-то изначальную условность советского мира и пытается вскрыть в своей книге В.Зелинский. Он дает ему имя — миф. Он бывает жесток к этому мифу, — и миф это, бесспорно, заслужил. И всё же особенно ценными и важными в книге мне кажутся слова о «запрещенном приёме» взгляда на прошлое из будущего и попытка найти путь, «который бы не был ни предательством твоей правды, ни судом над отцом».

Правда, на той же странице, где прозвучали эти замечательные слова, комментируя заметку отца об эмигрантской поэзии («упоминаются имена Георгия Иванова, Оцупа, Ходасевича, Вергинского, Дон Аминадо, Цветаевой»), Владимир Зелинский пишет: «Кто же стоял тогда на противоположной стороне поэтических баррикад? Безыменский, Жаров, Герасимов, Кириллов, Гастев...»

Безошибочно подбираются имена советских стихотворцев, чтобы затем риторической фигурой подчеркнуть их несопоставимость с названными поэтами-эмигрантами и ничтожность в большой перспективе русской литературы. Допускаю, что автору не хотелось в контексте такого «столкновения» затронуть ни одного значительного поэтического имени. «И всё же, всё же, всё же...» Ведь не они, вовсе не они стояли на «противоположной стороне поэтических баррикад», они лишь были общим посясторонним «баррикадным» фоном, не более. Кто же стоял? Пастернак с его «Вторым рождением», Сельвинский с «Пао-Пао» и «Тихоокеанскими стихами», Багрицкий с «Последней ночью», Тихонов с его лирикой, и — уже как бы вторым эшеломом — Луговской, Антокольский, Кирсанов, да мало ли ещё кто, только не названные стихотворцы, которых к тому времени (речь о начале 1930-х) мало кто и читал: относительной популярностью пользовались разве что первые двое, «комсомольские» поэты Жаров и Безыменский, остальные же, «пролетарские», успевшие прозвучать в первые пореволюционные годы, спустя всего одно десятилетие и даже раньше стали восприниматься как своего рода анахронизм. Говоря же о подлинных поэтических величинах, можно спорить о наибольшей значимости перед лицом поэзии той или другой стороны (это из рубрики всё тех же «неоконченных споров») — но прежде нужно ясно представлять себе реальную расстановку сил.

В другом месте В.Зелинский перечисляет поэтов: «Гастева, Кириллова, Герасимова, Александровского, Полетаева, Казина, Демьяна — полуграфоманов от революционного ликования, будем называть вещи своими именами».

Этот ряд сформирован уже не им, а К.Зелинским, посвятившим в книге воспоминаний и размышлений «На рубеже двух эпох» (1959) несколько глав пролетарским поэтам. Но если столь нелицеприятную оценку большинства остальных авторов можно было бы как-то принять, то зачисление в «полуграфоманы» Василия Казина совершенно недопустимо. Это поэт, обладавший даром непосредственности и какой-то, я бы сказал, особой ритмической задушевности, очень узнаваемой и своеобразной. Появление его было замечено буквально всеми — от А.Белого (учителя Казина) и В.Брюсова до Горького и Н.Асеева. «Подлинный, лирический, милостью Божией, поэт», «первый и единственный» из молодых советских лириков — таким Казин предстаёт в размышлениях Р.Иванова-Разумника. Замечательно точно сказал о нем Д.Святополк-Мирский: «Его стих — волшебная палочка, превращающая в чистое золото поэзии всё, к чему она прикасается». Высоко оценивает Казина и К.Зелинский, но пишет о нём в главке о трёх пролетарских поэтах мало и бегло, вероятно, не желая долго рассказывать о том, что и так было известно многим: Казин, в отличие от большинства остальных своих репрессированных, пропавших и замолчавших сверстников, в те годы начинал входить во вторую известность: стихи его после долгого перерыва переиздавались, о нем писали статьи, слагали стихи («Ему не нужен посох,/ он излучает свет,/ лирический философ/ своих и наших лет» — Я.Смеляков). Безусловно, не заслуживает звания полуграфомана и Демьян Бедный — блистательный версификатор, виртуозно владевший всеми видами и формами стихотворной агитации. Как относиться к самой направленности его яростной работы — другой вопрос.

Я столь подробно останавливаюсь на этих незначительных, проходных эпизодах в «Разговоре с отцом», — исходя, смею надеяться, из тех же изначальных побуждений, которые призвали к жизни книгу В.Зелинского (книгу, добавлю, написанную с большой любовью к поэзии, с тонким пониманием и неподдельно трепетным отношением к поэтическому слову). Попытка понять эпоху распространяется как на великие, так и на малые имена выразителей этой эпохи, а любовь к тем, кто хотя бы за одну строчку достоин любви, — одна она и даёт право голоса в подобном разговоре. И этот маленький спор с автором ведется здесь не с историко-литературных позиций, но прежде всего по праву любви — к поэтам названным и не названным в книге (и тем самым, в силу самой этой неназванности, как бы вынесенным за скобки потенциального читательского внимания).

Нынешним же читателям, увы, уже не отличить не только Александровского от Полетаева, но и Безыменского от Казина, — для них все «эти» поэты крашены «одною красной краской» (Д.Бедный), а значит, ни уважения, ни памяти не заслуживают. Но не правда ли, как легко с тем же успехом поставить, к примеру, фамилию К.Зелинского в один ряд с официозными и, по большей части, малоталантливыми, если не вовсе бесталанными критиками той поры: В.Ермиловым, В.Перцовым, Б.Ольховым и многими другими — зачислив всех их скопом в одну «отрицательную обойму». Однако не с такими ли скороспелыми выводами (чуть не написал: оргвыводами) спорит — можно сказать, противостоит им — «Разговор с отцом»?

Здесь можно вспомнить эпиграмму на К.Зелинского, написанную в 1930-х годах крупнейшим мастером пародии прошлого века А.Архангельским¹: «Для берегов

¹ Вспомнив Архангельского — не только выдающегося пародиста, но и автора блестящих эпиграмм, — укажем заодно и на досадную неточность, затесавшуюся в книгу В.Зелинского: известное двустишие Архангельского («Всё изменяется под нашим зодиаком,/ Но Пастернак остался Пастернаком») по ошибке приписано в ней поэту Сергею Васильеву.

Марк Амусин

Лики фантазии, или JORGE vs. JULIO

От редакции. *«Знаменитых писателей много, но крайне мало писателей культовых, которых читают с увлечением даже те, кто серьезных книг или вообще не читает или просто не считает чтение сколько-нибудь важным занятием», — констатировал Александр Мелихов, предваряя свои размышления о Ремарке, Хемингуэе и Камю («ДН», 2022, №7). Продолжаем перечитывать культовых писателей XX века. На сей раз это аргентинцы Борхес и Кортасар.*

На тему «Борхес — Кортасар» сказано и написано немало, но преимущественно (во всяком случае, по-русски) на уровне общих мест. Нет нужды доказывать, что они соотечественники и современники, самые знаменитые и почитаемые аргентинские писатели. Очевидно, что оба в своем творчестве не столько отображали, сколько преображали реальность с помощью игры разума и воображения. Переходя же к более содержательному рассмотрению их отношений — одни утверждают, что Кортасар был почитателем Борхеса, его учеником и чуть ли не получил от мэтра «путевку в литературу». Другие отмечают, что они были едва знакомы, сильно отличались по складу дарований, а в идеологическом плане и вовсе были противоположностями: один был поборником революции, другой — консерватором, если не реакционером.

В обеих точках зрения есть много верного (сосуществование взаимоисключающих утверждений не должно ведь смущать поклонников Борхеса и Кортасара), однако в обосновании сходства и различий двух Мастеров (различий, разумеется, больше) обычно недостает конкретности. Данная статья и является попыткой восполнить эту нехватку. И в ее фокусе будут художественные стратегии, которыми оба автора достигают своих целей, «внедряют» свои установки в сознание читателей.

Несхожи прежде всего сферы творческих интересов, а также исходные мировоззренческие диспозиции обоих писателей. Борхес — исследователь и певец универсалий. Он всемирен и надмирен. Арена его художественных опытов — интеллектуальный макрокосм, пространство, где собраны плоды философии, поэзии, воображения земных цивилизаций. Он пишет о цикличности и симметрии, о тождестве и множественности, о мифах и сквозных метафорах, о вечных сюжетах и образах, с помощью которых человеческое воображение приручало хаос окружающего. Он пытается вернуть затертым от частого употребления умозрительным понятиям их изначальный грандиозный смысл и наглядность, сделать их заново внятными для читателя.

При этом Борхес отнюдь не довольствуется инвентаризацией человеческой мудрости. Все намытые тысячелетиями золотые слитки науки и фантазии нужны ему не для того, чтобы наслаждаться надежным процентом с капитала. Он пускает их в рискованный оборот, бросает в пучину метаморфоз, фантастических приключений. Цель его — доказать, что «вторая природа», порожденная коллективным сознанием человечества, красивее, изящнее, богаче привычной материальной действительности, онтологически «сильнее» ее.

Кортасар тоже вовсе не бытописатель. И он обладает «сильно развитым органом полета», мощным метафизичным воображением. Он вполне разделяет исходный и фундаментальный принцип Борхеса: мир, данный нам в ощущениях, не единственно возможный, он подлежит усложнению, умножению, трансформациям — возгонке и переплавке, пусть лишь и в тигле авторской фантазии. Однако отправной (часто и конечной) точкой его творчества является все же действительность, в которую погружены его герои, «едоки хлеба», обретающиеся в Париже, Вене, Лондоне (реже в Буэнос-Айресе), журналисты и музыканты, служащие и рантье, литераторы и инженеры. Внутренняя (как и внешняя) жизнь этих людей служит писателю материалом художественного исследования и экспериментирования.

Да и способы их фантазирования изрядно различаются. Тексты Борхеса — неслабое испытание для вестибулярного аппарата читателей. При вхождении в них испытываешь — по воле автора — головокружение, нарушение ориентации в пространстве и времени. Здесь совершаются дерзкие опыты с устойчивыми представлениями и конвенциями, с законами логики и физики. Прекрасный пример — рассказ «Сад расходящихся тропок». Фабульный ход: китаец Ю Цун работает во время Первой мировой войны на германскую разведку и находит хитроумный способ донести до своих хозяев важную стратегическую информацию — своей заведомой «желтизной» лишь подчеркивает «мозговую игру» с понятиями бесконечности, лабиринта, порядка и хаоса. На каркас детектива-триллера накладывается ошеломляющее представление о множественности временных потоков, о параллельных и скрещивающихся измерениях бытия, вариантах реальности: «...Мне почудилось, будто мокрый сад вокруг дома полон бесчисленных призрачных людей. Это были Альбер и я, только незнакомые, умноженные и преобразенные другими временными измерениями».

Не менее причудливы и коллизии других его рассказов. Вспомним «Тему предателя и героя». Герой ирландского освободительного движения оказывается агентом англичан. Он изобличен товарищами, раскаивается — и соглашается принять заслуженную гибель в рамках придуманного другими заговорщиками сценического действия, «при нарочито драматических обстоятельствах, которые врежутся в память народную и ускорят восстание». Так все и происходит, и имя героя остается овеванным славой в памяти поколений. Борхес создает здесь ситуацию, когда естественный ход событий подменяется заговором, планом, инсценировкой, что и становится впоследствии непреложной исторической истиной.

Другие излюбленные мотивы писателя: остановка течения времени («Тайное чудо»); анфилада превращений сна в реальность и обратно («В кругу развалин»); идея анонимной и могущественной Компании, которая посредством лотереи становится властительницей судеб подданных — со всеми их якобы случайными превратностями, иллюзорными выигрышами и проигрышами («Лотерея в Вавилоне»); обнаружение магического предмета, содержащего в себе всю пространственную и временную полноту вселенной («Алеф»). Как видим, Борхеса влекут к себе изощренные

умозрительные конструкции, нарушающие общепринятые конвенции или доказывающие обманчивость, призрачность реальности. В одном из рассказов («Богословы») мимолетно предлагается точка зрения Бога на наши земные дела.

Масштабы экспериментов Кортасара как будто скромнее. Его внимание всегда сосредоточено на человеке — на микрокосме. В его рассказах (романы в этой статье выносятся за скобки ради сопоставимости объектов анализа — Борхес, романов, как известно, не писал, что, конечно, определяется интенциями его дарования) необычное, экстремальное, сбивающее с толку совершается всегда посреди обыденных обстоятельств, расцветает в жизни или сознании обыкновенных людей. Бывало — особенно по молодости — он разрабатывал и варьировал мотивы, застолбленные его старшим соотечественником. «Аксолотль» — смена ипостаси, превращение наблюдателя в объект его наблюдения. «Ночью на спине лицом вверх» — переселение душ и «короткое замыкание» между эпохами. Нечто похожее и в рассказе «Другое небо», где эффектной сменой кадров со/противополагаются реальности разных веков и стран.

Но в более поздних своих произведениях Кортасар занимается метаморфозами другого рода. Его фантазия, как Антей, черпает силу от соприкосновения, сцепления с земной поверхностью, с плоскостью человеческого существования. При этом писатель убежден в недостаточности обычной действительности, той скучной эмпирики, в которую мы по определению погружены. Он, словно визионер, чувствует присутствие других измерений и пытается вызвать, выкликать, *явить* их — самому себе и читателям.

Кортасар считал ошибкой современной цивилизации выбор пути гиперрационализма, формирующего упорядоченную, уныло регламентированную действительность. И он стремился в своем творчестве расширить «врата восприятия» читателей, вернуть в коллективное сознание публики ощущение многомерности жизни, предчувствие метаморфоз, ожидающих, быть может, за углом.

В рассказе «Конец этапа» скужающая путешественница, пытающаяся отвлечься от мыслей о потерях и разочарованиях, об одиночестве и расставании с любимым, заезжает в провинциальный городок. А в нем — музей со странной экспозицией: повторяющиеся изображения комнаты со столом и стулом, с размытым силуэтом уходящего человека. Диана смотрит, картины влекут и отталкивают, она покидает музей, уезжает из городка, но потом разворачивается и возвращается. Черета словно отражающихся друг в друге пустынных интерьеров зачаровывает ее, как символ пустой, уходящей в дурную бесконечность судьбы — и как надежда обрести все-таки завершение, даже ценой слияния с нарисованным, неподвижным пространством, даже ценой жизни.

«Лента Мёбиуса» — банально-жестокая история, место которой, казалось бы, на страницах судебной хроники. Оборачивается же она запредельным экспериментом-переживанием. Девушка, которую изнасиловал и, не желая того, убил полублаженный бродяга, в своем посмертном бытии, претерпевая сложные метафизические трансформации, сохраняет некое личностное ядро — и это благодаря возникшей парадоксальной «эмпатии» к ее невольному палачу. Самоубийство бродяги, упреждающее нож гильотины, оставляет тень надежды на встречу их преобразенных сущностей в бесконечности.

...Попытаемся теперь взглядеться и понять: какими именно «технологиями» Борхес и Кортасар реализуют свои творческие намерения, как осуществляют свои превращения, как подчиняют себе читательское сознание.

Борхес, прежде всего, впечатляет антуражем своих текстов. Действие его рассказов (не всех, но об этом речь позже) развертывается либо в древних и легендарных топосах (Вавилон и Багдад, Аравия и Персия, берега Инда и Нила) либо в обобщенной, условной Европе ученых, философов и мистиков. Время их — седая древность, средневековье, XX век, причем различия между эпохами оказываются ничтожными, будучи помещенными под знак вечности.

Далее, писатель искусно и экономно использует основные параметры литературного повествования — стиль, композицию, приемы сюжетосложения — для генерации новых и неожиданных смыслов, для придания гипнотической убедительности самым причудливым и магическим построениям. Слог его неяркий, не слишком индивидуализированный и разнообразный. В поэтике Борхеса упор делается скорее на риторику и интонацию, порой невозмутимую, порой вызывающе-повелительную. Ссылки на авторитеты, вперемешку реальные и вымышленные, не только призваны демонстрировать его неисчерпаемую эрудицию, но и завораживают наше восприятие, делают его доверчивым, податливым. В том же направлении работают отрывистые и эпические зачины рассказов: «Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом; как все — рабом; изведаль я и всемогущество, и позор, и темницу» («Лотерея в Вавилоне»). Здесь же использован сбивающий с толку прием разнообразных и взаимоисключающих версий, объясняющих необъяснимое (Компания вечна; Компания никогда не существовала; безразлично, есть Компания или ее нет).

Эффекты, нарушающие принятые в человеческом мире конвенции: однонаправленное течение времени, самоидентичность личности, различие между сном и явью — широко используются и в тривиальной «фэнтези». Однако Борхес резко усиливает их действенность, когда помещает в опорные точки своего нарратива. Вот как тонко проводит он концепт «подменной действительности» в рассказе «Тлен, Укбар, Orbis Tertius». Повествование ведется от первого лица, и лицо это как будто бы сам Борхес, что подтверждается упоминаниями его (подлинного) друга и соавтора Биио Касареса. Друзья вдаются в исследование загадочного географического объекта, Укбара, упомянутого в некоей солидной энциклопедии, причем рассказчик поначалу считает его мистификацией Касареса.

Внезапно появляется из ниоткуда другая книга, дающая более подробное изображение этой неведомой страны (или планеты), Тлена (или Укбара). А потом... Описываются феномены и параметры странного, полу-чужого мира, его обычаи, верования, наука и культура. Завораживающая наглядность этих описаний ничуть не умаляется обнаружением того факта, что Тлен — плод вымысла, грандиозная коллективная шутка группы анонимных творцов. Они создают целую систему воззрений на мир, исполненную избыточной симметрии и парадоксов, явно альтернативную человеческой.

А в заключение, в *постскриптуме* лаконично сообщается, что измышленный Тлен начал внедряться в земную цивилизацию, менять сознание людей. Ключевая фраза тут: «Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить». Земная история и «онтология» нечувствительно тают в сумерках забвения, человечество ступает на новый путь. Иными словами, рассказчик заканчивает свое повествование изнутри радикально изменившейся — по отношению к началу — действительности.

В новелле «Форма сабли» эффект ошеломления достигается совсем иначе. Снова эпизод из истории борьбы Ирландии за независимость. Случайный знакомый

рассказывает автору о своем участии в этой неравной борьбе, о мужестве товарищей, о схватках и жертвах. В его воспоминаниях возникает фигура Винсента Муна, революционера-начетчика с несносным характером. Лаконично, но детально повествуется о спасении героем Муна в рискованной ситуации, об их бегстве и нескольких днях, проведенных совместно в укрытии. Мун оказывается трусом, а в итоге и предателем. Герой распознает измену, преследует Муна и наносит саблей рану, уродующую его лицо. Да, автор в самом начале упоминает о шраме, пересекающем лицо его знакомого. И все же признание рассказчика в том, что он и есть презренный Мун, застигает нас врасплох.

Рассказ «Бессмертный» как бы излагает содержание рукописи, найденной в старинном издании «Илиады». Ее автор представляется Фламинием Руфом, трибуном римского легиона, отправившимся на поиски Города Бессмертных, о котором услышал от некоего путника. Описываются невыносимые тяготы похода, в конце которого Руф, чуть не умерший от голода и жажды, удостоивается увидеть Город, на поверку оказывающийся скопищем абсурдных, непригодных для жизни строений и запутанных лабиринтов. Город не населен, лишь вблизи его обитает жалкое племя дикарей-троглодитов, не владеющих даже речью.

Эту ситуацию Борхес резким сюжетным поворотом возводит в новую степень невероятности. Один из троглодитов вдруг заговорил — по-гречески. И тут герою открылось, что перед ним сочинитель «Илиады» — Гомер. Испив из реки бессмертия, он бессмертие обрел, но, как и его сотоварищи, впал от этого дара в ничтожество. В заключение Руф, сам приобщившийся к Бессмертным, высказывает предположение, что на самом деле он и есть Гомер, забывший свою первоначальную идентичность.

Из сказанного вытекает: Борхес вовсе не собирается уверять читателей в подлинности своего вымысла, придавать ему правдоподобие. Его истинная цель — поместить нас в утопическое пространство, где фантазия и реальность бесконечно отражают друг друга словно в зеркалах, вызывая ощущение вертиго, парения, сна во сне...

Кортасар обычно начинает под сурдинку: с летнего душного вечера, с чашки мате или стаканчика виски, с дорожной пробки, с захолустной гостиницы, боксерского поединка или заболевшего ребенка. Или с душевного состояния героя, спокойного или раздраженного, довольного/недовольного собой, мечтающего об отдыхе или приключении. Ведь герой — обычный человек, выдернутый словно наугад из толпы. (Заметим, что эти психологическо-бытовые «вводные» у Кортасара предстают какими-то размытыми, блеклыми, похожими на старые выцветшие фотографии. Такой колорит, с одной стороны, призван усилить ощущение постылой обыденности, из которой герои бессознательно хотят вырваться, а с другой — сигнализирует о чисто вспомогательной функции подобных экспозиций. Борхес, со своей стороны, любит инкрустировать фон магических сюжетов немногочисленными, но броскими, красочными деталями).

Потом исходная диспозиция усложнится, исказится, запутается, наполнится тревогой, надеждой, тоской. Возникнут пограничные состояния сознания, необычные явления, исчезновения. Но — постепенно, шаг за шагом, и ты не сразу поймешь, что очутился в сумрачном лесу...

Казалось бы, что необычного в посещении театрального представления? Райс, герой рассказа «Инструкции для Джона Хауэлла», забрел посмотреть спектакль со скуки. В антракте, однако, его настойчиво приглашают принять участие в представлении, заменив одного из актеров. Райс растерян, но неудобно отказываться. Затем абсурд

Александр Люсый

Усамособоенность, или Музыка знаков

Владимир КУРНОСЕНКО. Диалогия: Неостающее время. Совлечение бытия. — М.: Изд-во «БОС», 2022. — 336 с., ил.

К семидесятипятилетию Владимира Курносенко вышла его автобиографическая диалогия: «Неостающее время. Ювенильная сюита в семи рассказах» и последний, лежавший на письменном столе роман «Совлечение бытия. Беллетристическая импровизация в жанре фуги-токкаты». В виде приложения в книгу включены письма писателя, странички воспоминаний его сестры и литературного агента Нины Литварь, усилиями которой издание состоялось, и несколько литературно-критических отзывов, из числа основных, помогающих осмыслить судьбу Владимира Курносенко и написанное им как явление в русской литературе.

Виктор Астафьев: «Сперва как врач-хирург, затем как литератор, он понял очень простую, но многим и многим людям недоступную истину: прежде чем сделать операцию больному, надо самому почувствовать боль человеческую. А задача врача и вместе с ним литератора — помочь убавить боль и уменьшить страдания человека».

Лев Аннинский: «У Курносенко медицина — не просто профессия рассказчика. Это и концептуальный базис, и исход. Скальпельная жесткость взгляда плюс безжалостная логика диагноста. При фатальной, от “худобедно-интеллигентности” унаследованной жадности: за правдой факта найти глобальный смысл. <...> Мотив неменяемой, невыносимой, не знающей морали “правды” — проходит через все его тексты».

Алла Марченко: «...Прозе Курносенко суждено долгожительство. Всё, о чем бы ни заводил он речь, не сочинено, а оплачено жизнью. Нет, нет, не просто жизненным опытом, помаленьку, по крохам накопленным в результате “ошибок трудных”. А самой натуральной, самой подлинной, быстротекущей, живой, собственной жизнью. Удивительно даже заглавие последней его вещи — “Совлечение бытия”. Без умышленной наводки в прицел угодившее. В гумилёвское: “Только змеи сбрасывают кожи,/ Чтоб душа старела и росла./ Мы, увы, со змеями не схожи,/ Мы меняем души...” Курносенко не сбрасывает глянцеvidный воздухонепроницаемый кожух бытия эффектным жестом. Он отдирает его с мясом — совлекает то есть».

Данила Давыдов: «Врачебная профессия и христианское исповедание, конечно же, в значительной степени определяют внимание писателя к самой природе человеческого. Но, конечно, это еще и свойство творческой установки и личного мировоззрения, никак не сводимых к профессиональным или конфессиональным этикеткам. Любовь, творчество, религиозный поиск, быт и так далее — определять через эти тривиальные

тематические блоки работу писателя также не хочется, поскольку основой ее предстает наиглубиннейшая рефлексия, постоянное нахождение в зоне “проклятых вопросов”...»

В той же статье «Тонкая настройка слуха» Данила Давыдов отмечает, что вынесенное писателем в подзаголовок «Совлечения бытия» жанровое обозначение «фуга», прямо переносит сложные законы музыкального высказывания на литературные, что предопределяет музыкальную природу произведения в целом. Добавим, что сами названия обоих произведений — и «сюита», и «фуга» — задают некую исходную мелодию-модель. Эта связь неслучайна. В письме, адресованном Валентину Курбатову, Курносенко настаивает: сила писателя не в глобальности, мастерстве, стиле или «психологизме» (он берёт в кавычки), нет — «звук, тон, интонация — это и есть секрет всей литературы». Это как «первый звук» Ойстраха: услышал — и «я — его». То же — в другом письме — о Булгакове, которого вроде бы, признается, уже и не любит, но который забирает «одной чистой красотой, музыкой и ритмом». И еще о том же: «Отсюда и тысячи начал у Толстого. Отсюда и праздник Платонова. Особенно в “Котловане”. А обо всём остальном можно ведь говорить томами, ведь и в газете, где те же проблемы и открытия, что в прозе, коли про всякие этические выводы или там чего. А музыка она говорит сразу всё, и я слышу тогда. И тогда литература... Камертон дал Пушкин, и ни разу сам потом не сбился. И потом Гоголь, хоть слегка и ушёл, он сделал другое огромное. А Достоевский на нерве дорывался во всей внешней растрёпанности именно до него же, до звука — музыки сфер. Потому так и ужасно мне читать Бунина и Набокова, — они всё не о том, их самих больно много. А это скучно». И, примеряя на себя: «Самих нас у всех нас много».

Проза Курносенко в целом — мелодия знаков. Как рефлексировал герой «фуги», «язык-отмычка, посредством которой отмыкали себе тайну поэзии безбожник-позитивист Филя Колонок и православный иудей-христианин Бродский <...> был для него, Рубцова, не более как средством фиксации, чем-то наподобие нотных знаков, а решающей сделалась интонация, мелодия высвобождавшейся (А.Блок) истины-гармонии, которая по языку, по словам могла б, наверно, выразиться и иначе».

Сюиту — «Неостающееся время» — предваряет эпиграф из «Энеиды» Вергилия.

В Аверн спуститься нетрудно...
Вспять шаги обратить... —
Вот что труднее всего!

Вергилий, зафиксировавший практическую необратимость столь неотвратимой «гибели всерьёз» в недрах памяти, сопровождал Данте при обозрении ужасов «Ада», а в верхних ярусах «Чистилища» уступил эту роль душе Беатриче. Я усмотрел в этой книге-диалогии, без прямых параллелей с классиками, хождение/перехождение по трем кругам/степеням личного бытия, которое у Курносенко переливается в формы постоянного, сквозного через оба произведения, симпозиума (по изначальному древнегреческому смыслу слова — дружеского пиршества).

Сначала «школьные годы чудесные».

«Болезненное» соперничество классов А и Б, которые «сидели на газовой-нефтяной трубе» в городе *Яминске*, как «зашифровал» автор родной Челябинск. Более «сильный», с учительской точки зрения, Б был разбит на группы, тогда как «слабый» А имел лидера. «Лидер, он, дескать, что-то такое знает в глубине души, он идет и зовет за собой, а все прочие, влекомые зовом, сплываются, сдруживаются и объединяются в атакующем порыве в единый кулак». «Вялотекущая, как хроническое воспаление, борьба и была, собственно, нашей коллективной жизнью».

В действительности «боевой» («слабый» по-боевому) класс А имел сразу двух лидеров: формального, комсомольского секретаря Сашу Трубецкого (Сачок-Трубачок), ставшего затем дипломатом и видной медиафигурой, и неформального, Олю Грановскую, которая в спорте, в общественной

или художественной деятельности не выделялась, активной комсомолкой не слыла, будучи тем не менее истоком и ключом всего интересного у «ашников».

Стала она предметом и первой любви-poleмики героя. «Вставал однажды, к примеру, и бурно обсуждался вопрос: “Человек ест, чтобы жить, или живет, чтобы есть?”

О чем бы говорить-то вроде? Кто ж это в девятом классе не ответит...»

Автор теперь отвечает на неотвеченные тогда вопросы, заново переосмысливая обсуждение известного фильма по повести Бориса Балтера, отвергая теперь «наведенный коммун-ересью юношеский пыл их, “до-свидания-мальчиков”». Сохранившимся отголоском осталась разве что скрытая зависть к тогдашнему, уходящему на фронт Ромео — ему героиня повести, восьмиклассница, которой, как Джульетте, нету еще и пятнадцати, «смирненно, без малейшей заботы о себе, отдает девичье-детскую невинность свою». Впрочем, герою, подобно «тугоумному до встречи с ангелом отроку Варфоломею», взамен был ниспослан дар посредством «вникновения-взгляда запоминать прочитанное» по всем без исключения предметам.

Круг второй — хирургический.

Сперва — местный мединститут с особой «симпозиумной» ролью так называемой картошки, времени «зачинов едва ли не всех курсовых дружб и любовей». Затем ординатура, работа скальпелем на новом месте и первые литературные опыты. Новые соратники по новым просторам, новые инструменты взаимодействия с бытием. Опять распад компании, рыцарские векторы которой перестала стягивать некая Прекрасная Дама. «Один (лидер), поэт и культуртрегер, вернулся на родину в Питер, другой, художник, не совладав с пароксизмом тоски, бросился, как Гаршин, в лестничный пролет, а третий, писатель-юморист, перешедший на “тяжелую” прозу (Н.Я. Сам-ин), вступил в ту фазу отношений с алкоголем, когда спасти может разве одна онтологическая очевидность».

Пребывание в Новоломоносовске (как обозначен Новосибирск), в суетных, обреченных распаду координатах. «В литературу, в прозу, я по-прежнему еще не пришел (меня не пускали), а из хирургии, боясь задумов своих и заводов, наострял помаленьку лыжи». В Союз писателей не приняли, зато получил признание персонально от Виктора Астафьева, что стало большой моральной поддержкой на всю жизнь.

Круг третий — общежитие Литературного института, предел сугубо литературного бытия с возможной «гибелью всерьез» в воплощенном слове ли или в самом процессе poleмики — в духе античного *полемос*, участия в бесконечной жертвенной войне между враждующими началами с целью отделения вещей от хаоса, упорядочения космоса.

«Как в любой рабочей альбо студенческой общаге, где никакой воде не утолить жажды всех и каждого, на Руставели, на Шота, случались столкновения, иной раз и драки, хотя преобладающий тон был дружественный, пьяновато-лживый, подлещивающий... в тотальных осенью и спорадических весной внутрикномнатных застольях... со стихами, здравицами (“За проникновеннейшего... третьей четверти двадца... лирика... за...”), до дрожи душевной обрыдшим заемом-перезаемом “чириков”, с долгосрочным без меры удерживаньем ладони в тепло-влажном рукопожатии, с заменой, наконец, аморфно подталкивающего “Ты меня уважаешь?” на направленное конкретно к цели “А ты меня читал?”»

«В завершениях же пира — в предрассвете, в “час волка”, Василий, как единственный на этаже врач, прикладывал ухо к очередной мокрой от холодного пота груди и, за неимением лучшего, делал отчасти сомнительный для него “тибетский” массаж по лицевым точкам либо под чай-вторячок скупым самурайским разговором “вел” трухнувшего художника слова к снимавшему похмельный ужас восходу солнца...

Глубоко несчастные, заплутавшие, казалось, в трех извечных соснах, саморазрушители эти и их (К. Леонтьев) “связанные с развитием прекрасного” скорби были, мнилось, все-таки ближе к душевному здоровью и *неокосненью*, чем обладатели

“утилитарной морали”, зарывающие даруемый Богом талант (человечность, совесть и стыд), дабы без помех осуществлять свое утилитарное животно-формальное выживание».

Да, полемика с собеседником в общаге может завершиться и дракой. Полемику с самим собой кто-то едва ли не на каждом курсе прерывал хлопаньем не дверьми, а распахнутого окна, и выходом из него с пятого или шестого этажа (на седьмом жили более уважаемые с более рассеянным принципом расселения слушатели Высших литературных курсов).

Гонькин, Серёга Иеремиев, Таршиков, Евтюхович... идущие следом внахлест поколенческой черепице (субпоколения, по Науму Коржавину) — выстраивает автор ряд своих однокашников, слегка меняя фамилии, как и названия своих городов, оговариваясь, что «зазор в шесть-семь лет и не разница почти будто, а лад, строй и гармония на гитаре у них другая, *своя*».

А тема? Позже, в одном из писем Валентину Курбатову, Курносенко так представил свою литературную карту, функционально подобную той, что стала частью «Таинственного острова» Жюль Верна: «Про литературу и писать не хочется. Вы правы, если где и лежит живое — так в Астафьеве, да в других, кто за ним, хоть уже поменьше. Но я-то вам мечтал о другом. О той свободе в высших вопросах (которые и чуются *“деревенской”*, но от зажатости первой еще недообразованности переживают не в тех местах, и это коверкает чистоту линии), которая не цель, а средство, и вообще об этом не думать. Ну как, скажем, у Пушкина, у Платонова, у Рильке, который ведь тоже наш, постстолстовский. А тут душа чувствует, а голова перекошенная. Господи, я же не в осуждение. Никто их несколько не лучше. Мне вот жаль, что Солженицын встал на *“Иване Денисовиче”*, жаль, что нет русского Матевосяна — такой живой ткани прозы ни у кого нет. Из Вашего же ряда я бы исключил Маркеса и Леонова. Ряд выше их. Хотя у Леонова я читал один, кажется, ранний рассказ, да читали нам его *“периоды”* в литинституте для проверки нашей грамматики. На слух это было искусственно и плохо».

Что же касается своего персонального ряда, Курносенко разворачивает в «Совлечении бытия» такую дальнейшую перспективу: «Получив в Стэнфордском (штат Калифорния) университете степень, бывший сокурсник Курилки-Кирика Лёша Таршиков после ряда еще некоторых шагов и остановок обосновался на житие в Кёльне.

В соседнем, расположенном в пределах досягаемости Амстердаме он по-английски комментирует членам некоего “культурного объединения” стихи, составляет антологии, сиречь на чужбине и в чужом отечестве служит кем-то вроде нашего руководителя ЛИТО...

Благороден Лёша, как и раньше, без малейшей натуги, и от юности засевавший в Василии вопрос Достоевского: “А *зачем* человеку непременно нужно быть благородным?!” — всерьез как-то его и не заинтересовал...

В сущности, по-видимому, Василий так и не постиг, не разгадал до конца своего сокурсника-“гения?”...

Единственное, что окончательно выяснилось, — слово *гениально* они понимают неодинаково...

У живущего теперь в Кёльне Лёши слово по-прежнему значит высшую степень восхищения, а у Курилки-Кирика, слегка поостывшего на старости лет в бывших привязанностях, оно означает пребывание в истине... В Истине... По колено в грязи мы веками бредем без оглядки, и сосет эта хлябь... — и т.д.».

Проницательный читатель поймет, что Лёша Таршиков — это Алексей Паршиков. А вот для того, чтобы понять, кто такой Д., один из тех «трех-четырех преподавателей», что так или иначе одухотворяли на своих лекциях студентов высокой и бесценной радостью существования в *Духе*, кухонная беседа с которым стала «осевым» событием

этой второй, и главной учебы, одной пронизательности мало. Тут нужна особая, литинститутская, причастность.

Обличьем он представлен здесь как эдакий «приполярный чингизид», бурят или, быть может, манси, в повадке и тоне, в самой сути отношения к ближнему являющий (оно сияло и сквозило как нечто еще более родное и важное, чем «русскость») нечто безусловно узнаваемое, при поминаемое точно б из сказок... от бабушкиной согревающей душу печи...»

Ознакомившись с прозой героя, он терпеливо и умно растолковывает ему свое понимание.

«— Вы из тех, — негромко и неодобрительно роняет в таком случае Д., длинно и косо взглядывая на прочитанную рукопись, — кто сразу же берет читателя за горло!

...Это был первый отдаленный намек на то, что впоследствии Василий распознает как суть человеческого своеволия, как собственный его (по невежеству) сентиментальный морализм и гордыню боли».

Я-то сразу понял, о ком речь, и сразу же почувствовал во Владимире Курносенко старшего однокашника. Не могу не привести мой случай на экзамене по зарубежной литературе у Станислава Бемовича Джимбинова (1938—2016). Вздумалось мне изложить мнение, что немецкие писатели XX века глубже французских, поскольку пережили искушение фашизмом и претерпели процесс его изживания.

— Ну что вы, — не согласился наш общий любимец, усталое лицо которого исказилось гримасой раздражения. — Возьмите «Цитадель» Сент-Экзюпери, там такое нищестество...

Он вывел в зачетке «хорошо», но беседа, теперь уже о приключениях «коммуно-ереси», продолжалась.

— У нас при смене генсека какие-то изменения все же возможны, а вот, скажем, в Северной Корее ситуация совершенно безвыходная. Там Ким ещё при жизни передает власть сыну, и этому, похоже, нет ни конца ни края.

— Остается надеяться на один извечный миф, — вырвалось у меня.

— Какой?

— Эдипов комплекс.

Усталость на его лице сменилась улыбкой, и он исправил в зачетке «хорошо» на «отлично».

С тех пор и Курносенко, и Джимбинов ушли в мир иной, а я всего лишь преодолел поколенческие баррикады, сам принимая теперь экзамены у студентов творческого вуза. Мелькнула ревнивая мысль «снизить» оценку за неточности. Ведь Джимбинов на самом деле — сын *калмыцкого* классика, а любой, более или менее постоянно живший в общаге Лита, должен помнить его почтовый адрес — Добролюбова 9/11, с чего вдруг такие привилегии у перпендикулярного Шоты? Однако вскоре понял — «заочникам» было явно не до писем. Здесь состоялось основательное погружение автора в сугубо литературную кухню, которое затем, уже в годы последнего, «псковского сидения», привело к столь штучному синтезу традиций Андрея Платонова и Василия Шукшина, к степени «усамособенности», если воспользоваться одним из случаев его словотворчества. Это проза высшего балла.

Ольга Балла

Три катастрофы и одна жизнь

Вадим ВОЛОБУЕВ. Станислав Лем — свидетель катастрофы. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 728 с.

Книга, уже на уровне своего названия представленная как рассказ о жизни и личности Станислава Лема (1921—2006), «самого известного писателя Польши второй половины XX века и первого фантаста к востоку от Германии, прославившегося на весь мир», с самого же начала обещает нам объяснение коренных противоречий, которых, по словам автора, в биографии его героя даже «слишком много». «Почему Лем одновременно ненавидел и любил Россию? Зачем творил в жанре научной фантастики, если не выносил её как читатель? Каким образом он пережил нацистскую оккупацию, и как этот опыт повлиял на его мировоззрение?» Спойлер: да, ответы на эти интригующие вопросы — по крайней мере, авторскую их версию — в книге найти действительно можно (как и на другие вопросы, не менее интригующие: каковы были причины коммунистических взглядов Лема в 1950-е годы, когда и почему он от них отказался; как ему удавалось не принимать одновременно и современный ему социализм, и современный ему капитализм; почему он перестал писать художественную прозу...). Но в целом возбуждаемые таким началом большие ожидания фундаментальный труд Вадима Волобуева оправдывает лишь отчасти. Скажу ужасное: книга не совсем о Леме. И даже не в первую очередь о нём.

Дело в том, что Волобуев — по роду основных занятий и по устройству своей исследовательской оптики — историк и политолог: старший научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН; автор четырёх монографий о новейшей польской истории (Политическая оппозиция в Польше: 1956—1976. — М.: Институт славяноведения РАН, 2000; Польша—1970: Репетиция «Солидарности». — СПб.: Нестор-История, 2012; Польша в советском блоке: от «оттепели» к краху режима. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2018), первой русской биографии Папы Римского Иоанна Павла II (Иоанн Павел II: поляк на Святом престоле. — М.: Новое литературное обозрение, 2020) и нескольких десятков статей по истории Польши второй половины XX века; особенный предмет его исследовательского внимания — формирование польской политической оппозиции 1950—1970-х годов. Книгу он написал в точности о том, что ему интересно: куда более об истории времени и места, чем о жизни, личности и (особенно) творческой работе того, кого сам же себе назначил главным героем. Кажется иной раз: честнее было бы просто написать историю Польши (по преимуществу — политическую и идеологическую: смена властей, борьба политических лагерей, популярные идеологемы...) с начала 1920-х до середины 2000-х годов, — которую автор действительно знает пристально и подробно,

с исключительно цепким вниманием к деталям, фактам, цифрам (вплоть, скажем, до того, сколько процентов получила на выборах такая-то партия, сколько было арестовано участников такой-то демонстрации...) и которую он, в сущности, и написал, — чем представлять это как биографию своего героя (хотя да, его биография в некотором смысле служит тут организующим принципом). Писатель и мыслитель Станислав Лем оказывается по большей части поводом к тому, чтобы рассказать об обстоятельствах тех восьмидесяти с лишним лет, которые он прожил на земле. Точкой фокусирования взгляда.

Историографическое предприятие автора, конечно, настолько грандиозно по требуемому охвату материала (несколько исторических эпох, одна проблематичнее другой), что такая точка, она же — принцип отбора излагаемого, совершенно необходима. Другой вопрос, что за главного героя всё-таки обидно: при этом тщательном описании обширных окрестностей жизни Лема сам он в большой степени теряется. Многими страницами повествование развивается без какого-либо упоминания Лема вообще, и, кажется, вовсе не нуждаясь в нём.

Сколько-нибудь подробный разговор о герое книги всерьёз начинается только во второй «Катастрофе» (так называются большие разделы книги, числом три, где первая из «катастроф» — нацистская оккупация родного города Лема — Львова и уничтожение евреев, вторая — начало социализма в послевоенной Польше и связанные с этим несвободы, ослабленные лишь недолгой оттепелью; третья — предсмертные судороги социализма, включая военное положение, и трудности постсоциалистической жизни, которая Лему тоже категорически не нравилась. Как справедливо замечает в своей рецензии на книгу Валерий Шлыков¹, «эти катастрофы никак нельзя назвать равнозначными — ни в истории Польши, ни тем более в жизни Лема». Ну, добавим, сведение польской истории за восемь десятков лет к сплошной катастрофичности тоже видится некоторым огрублением).

Действительно, на время второй «катастрофы» пришлось и начало серьёзной работы Лема в литературе, и начало его публикаций, и первые публичные реакции на его тексты. Проблема, однако, в том, что за обилием подробностей политической и идеологической жизни теряются также, остаются почти совсем непроговоренными и культурная вообще, и литературная и философская в особенности компоненты всей этой истории. (Культурные, художественные события упоминаются лишь в той мере, в какой они оказываются частью и стимулами событий политических, и далеко не всегда в прямой связи с Лемом — скорее, именно как контекст: «“Глас Господа” был готов в январе 1968 года. Ситуация в стране к тому времени обострилась до предела. К антисемитской чистке добавились страсти вокруг спектакля Казимира Деймека “Дядя” по драматической поэме Мицкевича, который режиссёр поставил на сцене Национального театра Варшавы к 50-летию Октябрьской революции. Спектакль привёл в негодование Клишко² своими религиозными и антирусскими (как ему показалось) акцентами и 30 января был убран из репертуара. В тот же день варшавские студенты организовали манифестацию протеста к памятнику Мицкевича, разогнанную милицией»).

Лем-писатель остаётся, таким образом, едва ли не вовсе лишённым литературных корней и литературного контекста (почти с одним только социальным, зато прописанным с энтомологической подробностью). В частности, остаётся без внимания круг чтения Лема в разные годы, его литературный именно диалог со своим временем.

¹ <https://gorky.media/reviews/pochemu-stanislaw-lem-ne-polzovalsya-kompyuterom/>

² Зенон Клишко — член политбюро и секретарь ЦК ПОРП в 1959—1970 годах, идеолог партии.

Из современников-писателей упоминаются единицы, и то бегло и как фигуры скорее социальные — «властители дум», представители той или иной политической позиции, носители того или иного статуса, — чем литературные: «...В Польше появился ещё один юный властитель дум, сменивший в этой роли погибшего Боровского, Марек Хласко. Его рассказ “Первый шаг в тучах”, вышедший в ноябре 1955 года на страницах “Новы культуры”, так прогремел, что премьер Циранкевич уже в апреле предложил Хласко квартиру в любом новом доме столицы, а одноименный сборник рассказов за год был издан трижды общим тиражом в 50 000 экземпляров! И это у 22-летнего автора, который даже не был членом СПЛ³! Лем и мечтать не мог о таком ажиотаже вокруг своего имени».

Кажется, даже к физиологической биографии Лема, к истории его болезней («Депрессия его усугублялась физическими недомоганиями — падением зрения и слуха, бессонницей и опухшей рукой. Из-за прогрессирующей глухоты Лем больше не мог говорить по телефону...»), а также к истории приобретения им разных вещей («...купил цветной телевизор — “Рубин”») автор более внимателен, чем к философской и эстетической. (Совсем строго и, может быть, несправедливо говоря: по идее, обсуждать физиологические и бытовые обстоятельства героя имело бы смысл лишь в связи с их влиянием на то, что и как он писал. Возможно, это влияние и было, но таких связей автор не формулирует.) Представлены здесь (скорее, намечены пунктиром) и его эмоциональная и ценностная биографии; история его отношений с литературным и околотитулярным сообществами и отдельными их представителями. Но — самое обидное — художественные тексты Лема в неразделимом единстве с лежащими в их основе философскими идеями, их устройство, причины этого устройства остаются практически без авторского анализа; философские его представления автор даже не излагает подробно. Лем и сам занимает автора прежде всего как тип социальный, во вторую очередь — психологический, но не как литературное явление (главным образом как публицист). Да, не говорить о широком и международном признании своего героя как писателя автор не может и немало об этом говорит, но собственно литературные причины этого таинственным образом остаются незамеченными.

Если совсем строго: не то чтобы автор совсем не обращает внимания на художественную работу своего героя. Произведения Лема он, разумеется, упоминает; скрупулёзно отмечает время работы над ними, даты их изданий, переизданий, экранизаций, переводов, суммы полученных за них гонораров, иногда даже — на что писатель их истратил... Но он не предпринимает собственных, от первого лица попыток анализа прозы Лема как таковой. (Пуще того: он даже не цитирует её! Публицистику — цитирует, письма частные и официальные — тоже, и весьма обильно, художественного — ни разу.) Иногда он её даже оценивает — «головокружительный по остроумию и прозорливости рассказ», — но такие оценки умудряются не перейти в анализ. Автор поступает экзотичнее: отдаёт дело анализа лемовской прозы исключительно в руки современных писателю польских реципиентов разной степени квалифицированности — критиков-профессионалов и «простых» читателей — и говорит о ней многими цитатами из их рецензий (всё, что здесь есть о культурном и литературном контексте, сказано их словами). Складывается впечатление, что автор гораздо внимательнее и подробнее читает критику о Леме, чем его самого.

Надо отдать автору должное: тут он собрал впечатляющее обилие материала, которое наверняка много даст исследователям польской культуры соответствующего времени, его идей и настроений, которые Лем, будучи предметом и поводом

³ Союза польских литераторов.

высказываний, выявлял. По существу, в основной части книги он пишет историю рецепции Лема его современниками. (При этом он с неведомыми целями сообщает читателю возраст каждого из рецензентов на момент высказывания: «29-летний краковский критик Тадеуш Нычек», «46-летняя детская писательница Янина Вечерская»), а при возможности — и то, чем упоминаемый рецензент занимался в прошлом и/или станет заниматься в будущем, а то даже и какое учебное заведение он окончил («38-летний краковский журналист Стефан Братковский, бывший сотрудник разогнанной “По просту”, ныне специализировавшийся на теме научного прогресса и открытий будущего»; «34-летний Ежи Сурдыковский — выпускник факультета электроники Гданьского политехнического института и бывший работник верфи»; «42-летнему заместителю декана филфака Силезского университета Витольду Навроцкому (в будущем главному прорежимному литобозревателю»). Полагает ли автор, что социальные координаты читателей влияют на характер их восприятия, а значит, и на содержание цитируемых высказываний? Затем ли сообщает о них, чтобы из множества таких фрагментов складывался коллективный портрет лемовской читательской аудитории? Во всяком случае, ни единого высказывания, в котором бы анализировались — или хотя бы формулировались — закономерности этого рода, мы тут не найдём.

Из того, что в книге всё-таки имеет прямое отношение к её герою, в целом складывается портрет довольно несчастливому по внешним и внутренним причинам человека с изрядно дурным характером, вздорного, капризного, консервативного и при этом порочного («При всём своём консерватизме в частной жизни (ему не нравились ни сексуальная революция, ни феминизм, а виновниками эпидемии СПИДа, которая вспыхнет в скором будущем, он посчитает гомосексуалистов), каждую поездку на Запад Лем использовал для ознакомления с достижениями эротической промышленности и собирал порножурналы. По возвращении из Геттингена с восторгом рассказывал Щепаньскому об уровне жизни в ФРГ. “Болтал в бешеном темпе, сравнивая наш примитив и бардак, нашу бедность с западногерманской роскошью и тамошней организованностью, — записал Щепаньский. — Менее всего я люблю в нём эту восприимчивость к материальной стороне жизни”»), корыстолюбивого да ещё и нечестного: скрывал факты своей биографии — увлечение коммунизмом в молодости, даже, вопреки всем очевидностям, само своё этническое происхождение... Он мал, как мы, он мерзок, как мы?.. А вот не как мы. Совсем, совсем иначе. Опять-таки грубо говоря: пропадает масштаб личности. Остаётся совершенно непрояснённым, каким образом настолько мелкий, суетный человек мог создавать тексты, занявшие столько места в умах современников с очень, очень разными ценностями.

И более того: Лем довольно скупо представлен и мало проанализирован как именно *свидетель* — что было заявлено в названии книги, значит, фокусируя в себе главное направление её внимания. (Как человек, противостоящий своему времени, постоянно, принципиально, дерзко и безнадежно спорящий с ним, — вполне; правда, в основном на уровне публицистики и частных высказываний.) Тут сильно недостаёт именно свидетельских показаний главного героя, отчётов его об увиденном и пережитом (кому? будущим читателям?) — и рассмотрения того, как пережитое сформировало его тексты — особенно художественные, которыми он, вообще-то, в первую очередь и прославился.

Так и хочется сказать, что это книга, по сути, не осуществившаяся, — но всё-таки нет.

Тем, кого волнует Польша и её история новейшего времени, начиная с предыдущего интербеллума, всё то в ней, что прямо на глазах ныне живущих меняло

свой статус, превращаясь из жгуче-актуальной повестки дня в исторические события, идеи, страсти, иллюзии, владевшие умами поляков в основной части XX и в первые годы нынешнего века, — вот им книга будет очень интересна. А что до биографий Лема, их на русском языке, обращает наше внимание Валерий Шлыков¹, существует на сей день ещё три: «Станислав Лем» главного в нашем отечестве специалиста по лемовскому творчеству, «лемолога» Виктора Язневича (Минск: Книжный дом, 2014) — с основательным анализом его философских идей и их истоков (с тем самым, чего отчаянно недостаёт у Волобуева); «ЖЗЛ»-ка Геннадия Прашкевича и Владимира Борисова (М.: Молодая гвардия, 2015; Шлыков оценивает её как «слабую и компилятивную»), и переведённая с польского книга Войцеха Орлинского «Лем. Жизнь на другой земле» (М.: ЭКСМО: fanzon, 2019). (Вообще-то существует ещё и польская, пока не переведённая у нас биография Лема, написанная Агнешкой Гаевской, говорят, наиболее фундаментальная, на которую, кстати, Волобуев обильно ссылается.) Есть, наконец, добавлю, сборник научных статей «Искусство и ответственность. Литературное творчество Станислава Лема», выпущенный екатеринбургско-московским «Кабинетным учёным» в 2017-м, и монография Сагита Шафикова «Философская фантастика Станислава Лема», вышедшая во «Флинте» (Москва) в 2019 году и в этом переизданная уже в третий раз. Все эти исследования, если уж всерьёз ставить себе целью разобраться в жизни, личности и смыслах их главного героя, можно (и нужно) читать вместе, одним взглядом, сравнивать и дополнять их друг другом. И даже если, как утверждает Шлыков, каждая из биографий по-своему недостаточна, и герой от всех ловящих его авторов ускользает, картина всё-таки получится более-менее объёмная.

¹ <https://gorky.media/reviews/pochemu-stanislaw-lem-ne-polzovalsya-kompyuterom/>

Борис Минаев

Времена не выбирают?

Две женщины в чёрном

Восьмидесятипятилетие Людмилы Петрушевской отмечали в этом году в Германии. А я помню, как пришел в музей современного искусства на Гоголевском бульваре, на большую выставку, посвященную другому ее юбилею (куратор Анна Наринская). Выставка была отличная — например, воссоздали кабинет Петрушевской на даче: старая мебель, лампа, груда книг, пишущая машинка, листы бумаги, проигрыватель (если мне не изменяет память). Это было сделано как-то так изящно и легко, что казалось: сейчас хлопнет форточка, подует из нее холодный ветер, качнет за окном еловая ветка, пролетит птица, и кто-то крикнет: «Идите пить чай!»

Звукам, кстати, было уделено немало внимания. Но одна из «звуковых дорожек» (ее начитал для выставки покойный Дмитрий Брусникин) меня совершенно потрясла — это было обсуждение пьесы Петрушевской в профкоме драматургов (или в драматургической секции ВТО, за давностью лет подзабылось).

Петрушевскую критиковали, причем искренне и с чувством — такие люди, как, например, Михаил Шатров, а в обсуждении участвовали тогдашние «главные» шестидесятники театра. Говорили они, что без глубоких переделок спектакль невозможен — переделок именно в пьесе, говорили, что драматургия Петрушевской очерняет советскую действительность.

Я впервые узнал тогда о том, что пьесам Петрушевской не давали ходу в начале 1980-х не только партийные чинуши, официальные начальники культуры — но и люди вроде бы глубоко творческие, либеральные и прогрессивные.

И впервые задумался: а почему?

Для поколения, родившегося в 1930-е годы, пережившего сталинщину и Хрущёва, для поколения шестидесятников, с их парадигмой «движения вперед», неизбежности исторического прогресса, — Петрушевская, разумеется, была чужой.

Ленин — да, Сталин — нет, демократия — хорошо, диктатура — плохо, человеческая личность — прекрасно, тоталитарный «коллективизм» — плохо, «творчество масс» — хорошо, бюрократы и администраторы — плохо. Это была матрица, которая легко вбирала в себя самые разные общественные ситуации, конфликты и идеи, и она действительно оказалась востребована в конце 1980-х в полной мере. Но Петрушевская в эту матрицу никак не вписывалась. Повторю: для шестидесятников она была чужой, при всей их благожелательности к яркости ее таланта. Почему? Ответ не лежит на поверхности, он довольно сложен.

Герои пьес Людмилы Стефановны живут внутри личной, индивидуальной катастрофы, которая с историческим прогрессом и грядущей победой сил добра над силами зла вообще никак не связана.

Им, в сущности, уже все равно, победят «хорошие» когда-нибудь или нет, и что из этого будет. Ни идеалы творчества и культуры, ни «правильные» социальные практики от этой «внутренней» катастрофы их уже не спасут.

Потому что они в ней *уже* живут и будут жить до конца, стоически отказываясь от любой другой участи. А зачем? Ведь будет все то же самое.

Шестидесятники почувствовали верно: в пьесах Петрушевской нет «социальной критики», «анализа проблем общества», словом, привычного критического реализма. В них есть критика мира вообще, устройства вселенной в целом, и даже не критика, а тяжелый и окончательный приговор этой нашей вселенной. Такое их, конечно, устроить никак не могло.

...Каюсь, но главным произведением Петрушевской для меня навсегда остался маленький рассказ «Новые Робинзоны». Он был напечатан в «Новом мире», и я хорошо помню эти шероховатые серые страницы, мелкий шрифт, бледно-голубую обложку — и свой трепет, тот ужас, который охватил меня, когда я «Робинзонов» проглотил, а оторваться было невозможно.

Это был тоже рассказ о катастрофе — о некоей загадочной, то ли всемирной, то ли нашей, отечественной. Он начинался со звука разбитой витрины в соседней булочной, когда народ ночью пошел грабить магазины, продолжался историей о бегстве в деревню — «мы с рюкзаками, как бы туристы, как бы гуляем» — только в деревне еще можно найти картошку, овощи, что-то еще, да и просто *спрятаться*... В больших городах, пораженных неизвестным вирусом, начался голод, и волна насилия захлестнула обычную жизнь.

Эта — по внешним признакам антиутопия — никакого отношения, конечно, ни к фантастике, ни вообще к жанровой литературе, не имела. Рассказ, во-первых, был отражением апокалиптических настроений интеллигенции конца 1980-х годов, когда все со дня на день ждали чего-то ужасного, чудовищного, несмотря на «доброе и благополучное» горбачёвское время. И, во-вторых, что гораздо важнее, он отражал прежде всего «внутреннюю» вселенную автора. В рассказе сквозило как бы даже некоторое облегчение оттого, что все *уже случилось*, и не нужно жить в непрерывном тяжелом ожидании, мучить себя предательскими надеждами на что-то лучшее. «Лучшего» уже не будет.

Была эта странная радость от встречи с апокалипсисом, но не «идейная» радость фанатиков, а стоическая радость человека, который твердо знает, что темные времена — неизбежны.

...Ну и, конечно, ожидание голода. Этот подкожный, сидящий внутри страх эвакуированного ребенка военных лет — потом, прочитав не одно интервью Петрушевской, где она рассказывает, как ходила ребенком по соседям и пела за кусок хлеба, я понял, что есть вещи, которые остаются с человеком навсегда. Сегодняшнее «Кабаре Людмилы Петрушевской» — это праздничное легкое действо и одновременно напоминание о том голоде, о том времени настоящего, реального апокалипсиса, который она тогда пережила.

Мне уже приходилось писать о том, как я пришел в МХТ в начале 90-х (может быть, в 1990 или 1991 году) на «Московский хор», и в антракте неожиданно выяснилось, что в театральном буфете есть в продаже сосиски вразвес, по килограмму в одни руки. Причем сосиски хорошие, «мясные», как тогда говорили. Зачем уж они их «выбросили», бог весть, видимо, заказали слишком много — вряд ли специально, чтоб подкормить

зрителя. Мы скромно стояли в очереди, невзирая на уже третий звонок. Всем хватило, и все успели в зал.

Ну да, подумал я, такое возможно только на пьесе Петрушевской. И несмотря на то, что спектакль был красивый, играли народные и заслуженные, появилось странное ощущение, что жизнь как-то сама «поправляет» искусство. Это был легкий, даже смешной, но символический знак того, что катастрофа — как базовое понятие для драматургии Петрушевской — всегда рядом. Она всегда где-то тут.

Легко сказать — «жить внутри катастрофы», но что это означает для обычного человека?

Спектакль «Он в Аргентине», поставленный на сцене театра «Пространство внутри», в каком-то очень чистом, прямо-таки дистиллированном виде передает то самое мироощущение Петрушевской: все уже случилось, все уже произошло, ни от чего нельзя убежать, не на что надеяться, надо *жить так*.

Выбора нет.

Поставленный лет десять назад Дмитрием Брусникиным в МХТ, сегодня спектакль перенесен в новый театр двумя актрисами — Юлией Чебаковой и Розой Хайруллиной. Героиня первой — сестра-хозяйка дома творчества для пожилых артистов, затерянного на каком-то острове посреди большой реки, старое советское учреждение разваливается на глазах, но кое-кто в нем еще живет. Героиня второй — божий одуванчик, странная старушка, которая отказывается принимать пищу и даже просто жить.

Вся небольшая сцена устлана огромными кусками промышленного целлофана, на них в упаковках штук по двадцать — трехлитровые стеклянные банки, сестра-хозяйка перетаскивает их с места на место, переругиваясь с последней жилищей, которая не хочет покидать свою последнюю обитель. Надо отметить, что художник Анна Гребенникова с помощью этого целлофана, шума дождя, этих трехлитровых банок сумела создать настоящую метафору «конца света», который может быть вот так красив: вода, земля, пустая посуда, два человека разговаривают между собой и не могут остановиться...

Много говорили уже и писали об удивительном образе, который создает Роза Хайруллина, но, на мой взгляд, всё здесь важно, всё очень сильно взаимодействует между собой — и эта мощная лаконичность в сценографии, и музыка, и, конечно, диалог женщин. Одна — живая, земная, пластичная как вода, острая и эмоциональная, и другая — собранная, ушедшая внутрь себя и искренне готовая к смерти, к «последней воле».

И, понятное дело, меня занимал прежде всего ответ на главный вопрос: как живет, как думает и чувствует человек внутри катастрофы? Как он даже выглядит? Как разговаривает?

Сама ситуация описана в пьесе «Он в Аргентине» довольно привычными для Петрушевской красками — бесконечно разматывающаяся повесть о горькой женской судьбе, запутанная, как сериал, и правдивая, как рассказы Чехова, бандиты 90-х, нищета и горе «народной жизни», острая обнаженность старости, ну, в общем, всё по плану, всё как обычно, необычно только одно: всё в спектакле посвящено одному, устремлено в одну точку, без полутонов и вариаций. Ответу на вопрос: можно ли, стоит ли жить? И вполне логичному ответу: не стоит.

Страшный ответ оказывается вдруг оптимистичным: «линия сопротивления» есть! И дело тут не в актуальной сегодня теме эвтаназии, а в попытке найти в себе эту самую «последнюю волю», когда всё так страшно.

Перечитывая «Циников»

Тема готовности к смерти, к принятию катастрофы как данности стала основной и в другом спектакле, в другом городе. Театральная платформа «В центре» существует внутри пространства Ельцин Центра в Екатеринбурге и прославилась своими лаконичными и неожиданными спектаклями: «Колымские рассказы» по Варламу Шаламову, «Шпаликов», «Война, которой не было» по дневникам Полины Жеребцовой и другими. Это всегда молодые режиссеры и всегда молодой, ясный, порой довольно *остраненный* взгляд на трагедии века.

Но вот «Циники» Анатолия Мариенгофа (режиссер Антон Морозов), написанные о холодных и страшных московских зимах 1918—1919 годов, вдруг оказались настолько созвучными этому молодому взгляду, что никакого остранения и не потребовалось.

Все будто происходит сегодня, сейчас, только уже *после* того, как (вспомним Петрушевскую) самое страшное произошло — жизнь остановилась, замерла, застыла в ужасе от происходящего: «Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки».

Ольга, героиня маленького романа Мариенгофа, готова жить в предложенных обстоятельствах — любить, изменять, уходить и приходить, ее мужчины меняются, их жизнь тоже, страшное время то возносит ее возлюбленных, то их убивает...

Всем своим женским существом она отвергает страх, безнадежность, уныние и тоску, которые царят в помертвевшей Москве Мариенгофа, спектакль похож на старые дагерротипы: вспышка света, картинка и снова тьма (художник Катя Никитина), но, чтобы осталась картинка, — нужна «выдержка», то есть нужно застыть и не двигаться, зафиксировать, запечатлеть это время. Но Ольга застыть не может — она текучая, изменчивая, бесстрашная и ускользающая, притягивающая к себе как магнит.

«Время глобальных перемен застает героев врасплох» — написано в программке спектакля. А можно ли быть готовым к этой эпохе? Можно ли ей соответствовать? Быть естественным в этой токсичной среде?

Это важный вопрос. Умный, графически резкий, очень плотный, как сама проза Мариенгофа — откровенная, физиологически острая, порой почти до тошноты, — спектакль не дает ответа на этот вопрос, но ставит его очень ясно. Нынешним молодым тоже приходится жить в «эпоху глобальных перемен», они прекрасно понимают своих ровесников из той зимы 1918 года, они их чувствуют.

Ну, и эта острота поиска — ответа на главные вопросы жизни — сама по себе рождает надежду в нас. В зрителях, которые смотрят на все это как бы со стороны. Из зала.

Summary

Galina KLIMOVA. An Orphan in the Frost

Broken homes, childless couples, abandoned children – all them are doomed to pass through the trials of orphanage. The novel by Galina Klimova is about love, its happy findings and bitter losses when an acute awareness of being abandoned and lonely among the people in this world comes.

Poetry

“What your melody is about” – this unpretentious line of German VLASOV holds in itself the whole life, from the underside of the everyday till the eternal questions of being.

The poetry of Ekaterina POLYANSKAJA coincides with the “brittle line of destiny” vocalized by a female’s voice.

The poems by the Ossetian poet Amurkhan GADAEV translated by Konstantin GADAEV are our congratulation to the maitre with the eightieth anniversary.

Under the heading “Poet about Poet” Vera *Kalmikova* is telling about the brilliant poet and translator Vyacheslav *Shapovalov* – National poet of Kyrgyzstan, the incomparable “manastchi” and the devoted friend of our magazine, who left us one year ago.

Vladimir LIDSKIJ. Mother, Father, Childhood

This is an essay about the small homeland. “I have not one but at least three small homelands, because along with Moscow and Lida there also is Kyrgyzstan where I was living for nearly forty years. I think it is the same with many people: some have three and some – even more small homelands. It depends on the degree of love and warmth you feel towards the place...”

Tatyana DUBYANSLAYA. Spiritual Clamps in the Indian Way

A well-known Indologist Tatyana Doubyanskaya’s highly informative essay is about some fundamental traditions of an average Indian family, about wedding, housekeeping and other customs in today’s India. The author is trying to pass between the glamorous world of Bollywood and the everyday life full of small details.

Olafur Gunnarsson. Grant for Artists. A chapter from the book

In this chapter the well-known Icelandic writer shares a funny and moving story embracing a few days of the 1978-th year. “On the next day Joseph Brodsky – an exile-poet – had readings in a small auditorium *Rainbow* and was reciting in Russian so poetically and melodiously that there was no need of a translator, and I believed that the previous night he really saw an angel”.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

<http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Старая добрая дружба народов - доброты, взаимности, уважения к культуре и традициям других народов.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Классик РАДУЖИИ: Эссе и очерки Ю.В. Давыдова о творчестве Г.Г. Гоголя. Расс. Клав. Мельникова. Давид САВОНОВ. В кругу себя. Рассказы и эссе из жизни автора. Ксения ПУНСКАЯ. Монахи. Восточный мир. Людмила ШЕВАРДИНА. Август

Дружба народов 1/2018



Читайте:

Родион Белецкий. «Чужой ребёнок».
Роман

«Всё изменилось, когда я вернулась домой, не дойдя до метро. Забыла телефон. Вошла, вся в своих мыслях. В основном, о том, насколько я ничтожная личность. Осторожно прикрыла дверь, чтобы отец не разорался, и, забрав ключи с подставки для обуви, заглянула в комнату. Просто проверить больного. Заглянула и окаменела.

Папа, который третий год не вставал с кровати, инвалид моего сердца, стоял на своих двоих перед включённым телевизором и, переминаясь с ноги на ногу, ел зефир. Сначала я не могла поверить своим глазам. Чудеса встречаются только в кино, но чтобы у меня в гостиной!

— Папа... — сказала я тихо.

Он обернулся, испугался и тут же закачался, словно собирался упасть. Но не упал.

— Ты что, ты... стоишь?! — спросила я.

— Это... я случайно, — сказал папа. — Сейчас...

— Ты, — говорю, — не просто стоишь, ты ещё и ходишь!

— Разве? Я случайно!

И тут меня прорвало:

— Ты притворялся?! Ты всё это время притворялся?!...»